

ОБЛАДАТЕЛЬ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2015

Марлон Джеймс

Краткая история семи убийств



Реальная история покушения на Боба Марли

Марлон Джеймс

Краткая история семи убийств

«ЭКСМО»

2014

УДК 821.111-31(680)
ББК 84(7Coe)-4

Джеймс М.

Краткая история семи убийств / М. Джеймс — «Эксмо»,
2014

ISBN 978-5-699-91304-6

3 декабря 1976 года. Ямайка на пороге гражданской войны, а в гетто Кингстона льется кровь. В этот день «король регги» Боб Марли готовился к грандиозному концерту, призванному ослабить напряжение в ямайском обществе. Внезапно семеро стрелков, вооруженных автоматическим оружием, вломились к нему в дом и буквально изрешетили всё вокруг. Певец выжил – и даже провел концерт, несмотря на ранения в грудь и руку. Но неясные, темные слухи об этом покушении еще долго будоражили весь мир...
Содержит нецензурную брань!

УДК 821.111-31(680)
ББК 84(7Coe)-4

ISBN 978-5-699-91304-6

© Джеймс М., 2014
© Эксмо, 2014

Содержание

Действующие лица	6
Большой Кингстон (С 1959 Г.)	6
Копенгаген	7
Восемь проулков	8
За пределами Ямайки (1976–1979)	9
Монтего-Бэй (1979)	10
Майами и Нью-Йорк (1985–1991)	11
Сэр Артур Джордж Дженнингс	12
Часть I	15
Бам-Бам	15
Барри Дифлорио	21
Папа Ло	26
Нина Берджесс	29
Бам-Бам	33
Джоси Уэйлс	38
Нина Берджесс	42
Демус	47
Алекс Пирс	51
Джоси Уэйлс	55
Бам-Бам	59
Алекс Пирс	65
Папа Ло	69
Барри Дифлорио	73
Нина Берджесс	79
Демус	85
Сэр Артур Джордж Дженнингс	88
Часть II	93
Нина Берджесс	93
Папа Ло	97
Джоси Уэйлс	101
Барри Дифлорио	105
Алекс Пирс	109
Папа Ло	113
Нина Берджесс	116
Конец ознакомительного фрагмента.	119

Марлон Джеймс

Краткая история семи убийств

Морису Джеймсу – джентльмену, непревзойденному в своей лиге

Marlon James

A Brief History Of Seven Killings

Copyright © 2014 by Marlon James

This edition is published by arrangement with Trident Media Group, LLC
and The Van Lear Agency LLC

Внимание! Текст книги содержит фрагменты, связанные с
распространением и употреблением наркотических средств!

Содержит нецензурную брань!

© Перевод на русский язык. Шабрин А.С., 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э»,
2016

Действующие лица

Большой Кингстон (С 1959 Г.)

Сэр Артур Дженнингс — бывший политик, ныне покойный
Певец — регги-звезда мировой величины
Питер Нэссер — политик, стратег
Нина Берджесс — бывшая секретарша, сейчас безработная
Ким-Мари Берджесс — ее сестра
Рас Трент — бойфренд Ким-Мари
Луис «Доктор Лав» Эрнан Родриго де лас Касас — консультант ЦРУ
Барри Дифлорио — резидент ЦРУ на Ямайке
Клэр Дифлорио — его жена
Уильям Адлер — бывший агент ЦРУ, теперь изменник и негодяй
Алекс Пирс — репортер журнала «Роллинг Стоун»
Марк Лэнсинг — кинорежиссер, сын экс-директора ЦРУ Ричарда Лэнсинга
Луис Джонсон — агент ЦРУ
Мистер Кларк — агент ЦРУ
Билл Билсон — репортер «Глинер» (Ямайка)
Сэлли Кью — посредница, осведомительница
Тони Макферсон — политик
Офицер Уотсон — полисмен
Офицер Невис — полисмен
Офицер Грант — полисмен

Копенгаген

Рэймонд «Папа Ло» Кларк — дон Копенгагена¹ (1960–1979)

Джоси Уэйлс — старший инфорсер², дон Копенгагена (1979–1991), главарь «Шторм-группы»

Ревун — криминальный авторитет, старший инфорсер «Шторм-группы» (Манхэттен / Бруклин)

Демус — гангстер

Хекль — гангстер

Бам-Бам — гангстер

Цыпа — гангстер

Рентон — гангстер

Зверюга Легго — гангстер

Тони Паваротти — инфорсер, снайпер

Жрец — курьер, осведомитель

Душка — осведомитель; по слухам, шпион Восьми Проулков

«Уэнг-Гэнг» — банда района Уэнг-Сэнг, связанного с Копенгагеном

Медяк — инфорсер банды

Китаёз — главарь банды близ Копенгагена

Макуха — гангстер

Бычара — инфорсер

¹ Копенгаген — один из значных районов Кингстона.

² Инфорсер — член гангстерской банды с функцией принуждения к выполнению ее требований.

Восемь проулков

Роланд «Шотта Шериф»³ Палмер — дон Восьми Проулков (1975–1980)

Шутник — инфорсер банды, второй по старшинству

Бантин-Бэнтон — один из заправил, дон Восьми Проулков (1972–1975)

Тряпка — один из заправил, дон Восьми Проулков (1972–1975)

³ Кличка происходит от знаменитой песни Боба Марли «Я застрелил шерифа» (*англ.* I Shot the Sheriff, причем рефрен поется как I Shotta Sheriff).

За пределами Ямайки (1976–1979)

Дональд Кассерли — наркоторговец, президент «Ямайской лиги свободы»

Ричард Лэнсинг — директор ЦРУ (1973–1976)

Линдон Вольфсбрикер — американский посол в Югославии

Адмирал Уоррен Танни — директор ЦРУ (1977–1981)

Роджер Теру — агент ЦРУ

Майлз Коупленд — резидент ЦРУ в Каире

Эдгар Анатольевич Чепоров — репортер агентства «Новости»

Фредди Луго — боевик «Альфа-66» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Эрнан Рикардо Лозано — оперативник «Альфа-66» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Орландо Бош — боевик «Омега-7» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Гаэль и Фредди — боевики «Омега-7» (Объединенные революционные бригады «Амблад»)

Сэл Резник — репортер «Нью-Йорк таймс»

Монтего-Бэй (1979)

Ким Кларк – безработная

Чарльз «Чак» – инженер «Алькорп боксит»

Майами и Нью-Йорк (1985–1991)

«Шторм-группа» – ямайский наркосиндикат

«Иерархия донов» – конкурирующий ямайский наркосиндикат

Юби – старший инфорсер «Шторм-группы» (Куинс / Бронкс)

А-Плюс – сообщник Тристана Филиппа

Свиной Хвост – инфорсер «Шторм-группы» (Куинс / Бронкс)

Питбуль – инфорсер «Шторм-группы» (Куинс / Бронкс)

Омар – инфорсер «Шторм-группы» (Манхэттен / Бруклин)

Ромео – наркодилер из «Шторм-группы» (Бруклин)

Тристан Филипп – заключенный «Рикерса»⁴, член «Иерархии донов»

Джон-Джон Кей – киллер, автоугонщик

Пако – автоугонщик

Гризельда Бланко – наркобаронесса Медельинского картеля на территории Майами

Бакстер – вышибала при Гризельде Бланко

Гавайки – инфорсеры при Гризельде Бланко

Кеннет Колтхерст – житель Пятой авеню в Нью-Йорке

Гастон Колтхерст – его сын

Гейл Колтхерст – его невестка

Доркас Палмер – сиделка-домработница

Миллисент Сегри – медик-стажер

Мисс Ветси – управляющая «Боже благослови» (агентство по трудоустройству)

Монифа Тибодо – наркоманка

⁴ «Рикерс» – остров-тюрьма в проливе Ист-Ривер, относящийся к нью-йоркским районам Куинс и Бронкс.

Сэр Артур Джордж Дженнингс

*Как сказать об этом правду?
Милый, это сложнее всего.
Бонни Рэйтт «Заблудшие во тьме»*

*Если это не так, значит, это примерно так.
Ямайская поговорка*

Слушайте.

Мертвые никогда не перестают говорить. Может, потому, что смерть – это вовсе не смерть, а оставление после уроков – точнее, задержание после школы жизни. Ты знаешь, откуда держишь путь, и извечно, раз за разом, возвращаешься из этого места. Знаешь, куда движешься, но все никак туда не доходишь, а сам при этом мертв. Мертв, и всё тут. В этом есть призыв к некоей завершенности, но к слову незримо присобачена частица «-ing», означающая, согласно грамматике, продолженное время. Ты пересекаешься с людьми, мертвыми значительно дольше тебя; все время куда-то идешь, направляясь во все то же никуда, и слушаешь вокруг себя подвывания и пошипывания, потому как все мы – духи (или, во всяком случае, так полагаем), но на самом деле мы попросту мертвы.

Духи, что, как сквозняк в окошко, впархивают в других духов. Скажем, женщина иногда крадучись проникает в мужчину и стенает памятью о занятиях любовью. Стенание это достаточно громко и явственно, но в окошко доносится не слышнее посвистывания или шепота под кроватью, которое маленькие дети принимают за барабашку. Залегать под кроватями мертвым нравится по трем причинам: (1) основное время мы действительно проводим лежа; (2) низ кровати снизу кажется изнанкой гроба, но (3) налицо вес – тот самый, человеческий, вес наверху, в который ты можешь забраться и тем самым незаметно усилить его, ревниво вслушиваясь в биение сердца, глядя, как оно качает кровь, а ноздри чуть слышно посвистывают, нагнетая в легкие воздух (о, эта зависть живому дыханию, пусть даже самому краткому!). Что до гробов, то лично мне они не помнятся.

Но мертвые никогда не перестают разговаривать, и иногда это доносится до слуха живых. Вот что мне хотелось сказать. Когда ты мертв, твоя речь представляет собой не более чем набор дуновений ветра и окольных путей, по которым ты какое-то время бесцельно дрейфуешь. Во всяком случае, так поступают остальные. Я же смекнул, что изошедшие могут учиться от изошедших, хотя дело это непростое. Я ухитряюсь слушать себя, одновременно твердя тем, кто способен слышать, что упал я не сам, а меня выпихнули с балкона отеля «Сансет-Бич» в Монтего-Бэй. Не могу я и велеть себе заткнуться – «закрой хайло, Арти Дженнингс», – потому что каждое утро, просыпаясь, я вынужден заново собирать свою разможенную, как тыква, голову. Даже сейчас при разговоре я могу слышать то, что уже говорил: «Вы вообще врубаетесь, раздолбай?» В смысле, что загробная жизнь – это вам не миниатюрка из хэппенинга и не отпадная, язви вас, вечеринка («ух ты, сколько же клевых чуваков на ковре»). Но пока так никто и не врубился, и мне не остается ничего иного, как ждать того, кто спровадил меня на тот свет. Но он все не мрет, а лишь медленно стареет, меняя по ходу жен на все более и более молодых, и растит целый выводок имбецилов; дряхлеет и постепенно доводит свою страну до ручки.

Мертвые балаболят без умолку, и порой живые их слышат. Иногда, если подловить спящего в миг трепетанья ресниц во сне, он вступает с тобой в диалог и не прерывает его, пока жена не шмякнет спящего по щеке. Хотя лично мне больше нравится слушать тех, кто умер давно. Мне порой доводится видеть людей в рваных панталонах и окровавленных кам-

золах; они тоже пытаются что-то поведать, но у них изо рта начинает булькать кровь – да, восстания рабов были жутким делом, и королеве, конечно же, приходилось не церемониться еще с той поры, как с помпезностью пошла ко дну Вест-Индская компания – в отличие, возможно, от Ост-Индской; а сколько негров при этом полегло к месту и не к месту, просто уму непостижимо... да будь оно все проклято: из-за этой болтовни я, кажется, неправильно составил свою левую половину лица. Быть мертвым – значит понимать, что «мертвый» не значит «сгинувший»; просто ты находишься на плоскости долин смерти. Время здесь не останавливается. Ты наблюдаешь его ход, только при этом сам остаешься недвижим, как картина с улыбкой Джоконды. В этом пространстве рассеченная триста лет назад глотка и младенческая смерть двухминутной давности – по сути, одно и то же.

Если не следить за тем, как ты спишь, то ты снова окажешься таким, каким тебя нашли живые. Меня они застали на полу с головой, как лопнувшая тыква; правая нога подвернута под спину, обе руки согнуты под немыслимыми углами. С вышины того балкона я смотрелся как раздавленный паук. Представая сразу в двух ракурсах – оттуда сверху и отсюда снизу, – я вижу себя таким, каким меня видел мой убийца. Мертвые повторно проживают тот импульс движения, всплеск действия, вопль, и снова в той же последовательности: поезд, не умеряющий бега, пока не оторвался от рельсов; балконный выступ на шестнадцатом этаже того здания. Багажник машины, в которой иссяк запас воздуха. Тела хулиганистых юнцов, сдутые, как шарики, от шести десятков пуль.

Без посторонней помощи так не падает никто. Я знаю. Известно мне и то, как ты при этом выглядишь и что ощущаешь, – вспарывающее до самого низа воздух тело с прихваткой за ключья пустоты, с истошной, всего на раз, на гребаный единственный раз, молитвой: «Господи, сучий ты потрох! Да сделай же так, чтоб за воздух можно было хоть как-то зацепиться! Ну?!» И вот ты, все еще трепыхаясь, рушишься, а мраморный плиточный пол встает дыбом и с хрястом лупит тебя, потому как истомился в ожидании крови. И вот мы просыпаемся, все такие же мертвые: я – раздавленный паук, он – обугленный таракан. О гробах у меня памяти нет.

Слушайте же.

Живые ждут и видят, теша себя обманом, что у них якобы есть время. Мертвые, напротив, видят и ждут. Однажды я спросил свою учительницу в воскресной школе: если рай – место для вечной жизни, а преисподняя – другой ее край, то что превращает ее в ад? «Маленькие рыжие растрепы вроде тебя», – услышал я в ответ. Эта женщина до сих пор жива. Я вижу ее в богадельне «Эвентид», где она превращается в рухлядь, уже наполовину выжив из ума, не помня своего имени и с таким тихим шелестом вместо голоса, что никому невдомек, как она пугается наступления темноты, потому что тогда к ней поспешают крысы, щекотать и покусывать ее старчески искривленные пальцы ног. Но вижу я не только это. Стоит мне как следует вглядеться и посмотреть чуть влево, как становится видна страна – все такая же, как когда я ее покинул. Она никогда не меняется, равно как и люди, вокруг которых я отираюсь. Они все такие же, как на момент моего ухода, и перемена возраста не имеет значения.

Человек, который был отцом нации – для меня роднее, чем мой собственный, – слышав о моей смерти, рыдал, как безутешная вдова. До своего ухода ты и не знаешь, что людские сны связаны с тобой, а после ухода уже не остается ничего иного, как взирать на их собственную кончину, но уже иную – медлительную, с постепенным отказом вначале ног, затем рук, системы за системой. Аритмия, диабет, медленно доканывающие болезни с труднопроносимыми названиями. Через их унылую чреду тело нетерпеливо пробирается к смерти – пошагово, часть за частью. Он еще доживет, этот несчастный, до своего провозглашения национальным героем, а умрет единственным, кто считает себя в проигрыше. Вот что про-

исходит, когда ты воплощаешь собой чаяния и мечты, все в тебе одном. Становишься не более чем метафорой.

Вот вам история нескольких убийств – о мальчиках, которые для безостановочно кружащегося мира не значили ровным счетом ничего, но каждый из которых, дрейфуя мимо меня, несет на себе сладковато-смердный запах человека, что меня прикончил.

Тот из них, что первый, исходит криком, но крик утыкается в глотку, куда затиснут кляп, воняющий, как ком блевотины. Кто-то связал ему за спиной руки, но они уже не стиснуты, потому как кожа на них стерлась, а веревка осклизла от крови. Он неистово дрыгает ногами, из которых правая примотана к левой; дрыгает так, что пыль и грязь вздымаются на пять футов, затем на шесть, и вот он уже не в силах стоять под градом валящейся сверху грязи, пыли и камней. Вот один камешка попадает ему по носу, а другой лупит в глаз, который лопается жирными брызгами, и он вопит, но вопль откатывается от глотки отливом, а прилив грязи взбухает, и он уже не видит своих ног. А затем он проснется, все такой же мертвый, да так и не назовет мне своего имени.

Часть I

Первоначальные рокеры⁵

2 декабря 1976 года

Бам-Бам

Знаю, что было мне четырнадцать. Это для меня не секрет. Еще знаю, что многие языком чешут абы чесать, особенно Америкос, который не затыкается никогда. Или только затем, чтобы начать ржать, и обязательно когда говорит про тебя, да еще с такой чудинкой: вечно приплетают твоё имя к каким-то другим, о которых мы слыхом не слыхивали, типа Альянде Лумумба (похоже на страну, из которой взялся Кунта-Кинте). Глаза Америкос почти все время прячет за темными очками, типа как он проповедник из Америки, приплыл поучать чернокожих. С Кубинцем они приходят иногда вместе, иногда порознь, и когда один говорит, другой все время помалкивает. Кубинец почему зря стволом не машет – пушки, говорит, всегда нужны, когда нужны.

Знаю еще, что спал я на топчане, мать у меня давала за бабки, а отец был последним хорошим человеком в гетто. И что у твоего домины на Хоуп-роуд мы дежурили уже несколько дней, пока ты не вышел к нам для разговорца с таким видом, будто ты Иисус, а мы тут все Иуды, и типа так кивнул: благословляю, делайте свое дело, продолжайте в том же духе. Только не припомню, видел ли тебя я, или это кто-то мне сказал, что он тебя видел, а значит, и я мог подумать, что тоже видел, как ты вышел на заднее крыльцо с ломтиком джекфрута, и тут откуда ни возмись она, как с какого-то важного дела (уж какое оно могло быть, в этом часу ночи? хотя известно какое), да еще такая вся в шоке: как, ты не одет? И потянулась за твоим джекфрутом, как голодная, хотя *раста*⁶ не одобряют, чтобы женщины вели себя непочтительно, и вы оба с ней двигаете на полуночный рейв, а я тоже от него балдею – и от вида, и от звука, – а потом ты пишешь об этом песню⁷. Четыре дня подряд, в восемь утра и четыре пополудни, за коричневым конвертом к тебе приезжает один и тот же пацан из Бетонных Джунглей, на одном и том же лягушачьем моцике, пока его наконец не заворачивает новая бригада караульщиков. Об этом деле мы тоже знаем.

В Восьми Проулках и в Копенгагене всё, что ты можешь делать, это смотреть. Сытый голос по радио вещает, что преступность и насилие захлестывают страну, и наступят ли когда-нибудь перемены, надо подождать и посмотреть, но мы здесь, в Восьми Проулках, только и можем, что смотреть и ждать. И вот я смотрю, как по улице вовсю текут сточные воды, и жду. Смотрю, как моя мать дает двоим клиентам за двадцатку и еще одному за четвертной – иначе проваливай, – и жду, жду. Смотрю, как мой отец так на нее вызверивается, что валтузит как собаку, – и жду, жду, жду. Вижу, как оцинковка на крыше ржавеет под дождем, она вся в бурых дырках, будто импортный сыр; вижу, как в одной комнате ютятся семеро и одна беременная, и все равно трахаются, потому как бедны настолько, что не могут позволить себе стыд, – и все жду, жду. Комнатка становится все тесней и тесней, а из глубинки приваливает все больше братьев-кузин-сестер, а город все разбухает, и уже негде в

⁵ «Первоначальные рокеры» (англ. Original Rockers) – название альбома (1979) ямайского регги- и даб-музыканта и продюсера Огастеса Пабло.

⁶ Раста (растаманы) – приверженцы религиозного движения растафарианства, зародившегося на Ямайке и ставшего мировой субкультурой.

⁷ Здесь и далее идет речь о песне Боба Марли «Полуночные рейверы» (англ. Midnight Ravers).

нем сделать трах-трах, справить нужду или заправить курицу карри, а даже если и есть где, то не по карману, и той вон девчужке дают ножа, поскольку знают: ей по четвергам дают деньги на обед, и ребятам с улицы нравится, что я росл не по годам и в школу хожу как придется, не умею читать про Дика и Джейн, зато знаю о коке и коле, хочу попасть в студию и нарезать песняк, выдать хит и сделать ноги из гетто, но Копенгаген с Восемью Проулками слишком велики, и едва подбираешься к краю, как они пролегают вперед тебя, как тень, пока весь мир не превращается в гетто, – а ты все ждешь, ждешь, ждешь.

Я вижу, что ты голоден и ждешь, и знаешь, что это просто удача – ошиваться возле студии, и вдруг тебя замечает Десмонд Деккер⁸ и указывает, чтобы тебе дали попробовать, и тебе дают, потому что еще до того, как ты начинаешь петь, в твоём голосе слышен голод. Ты делаешь запись, но не хитовую, и уже тогда слишком причесанную для гетто, хотя мы уже прошли то время, когда причесанность облегчала кому-то жизнь. Мы видим, что ты лезешь вперед, а еще впереди на семь футов твои слова, и мы хотим, чтобы ты облажался. И мы знаем: никто не поверит твоему рудбойскому⁹ прикиду, потому что у тебя вид интригана.

А когда ты исчезаешь в Делавэре и возвращаешься, то пытаешься петь ска, но ска уже покинул гетто и прописался на окраинах. Ска полетел самолетом за границу, показать белым, что это вам не твист. Может, для Сирийца с Ливанцем в этом и есть причина для гордости, но когда я вижу, как он в газетах позирует со стюардессами, я эту их гордость не разделяю, а просто пучу глаза – чёё? Ты записываешь еще одну песню, на этот раз хитовую. Но один хит не может выпульнуть тебя из гетто, если ты записываешь хиты для вампира. Один хит не превращает тебя в Скитер Дэвис¹⁰ или парня, что поет *«Баллады ганфайтера»*¹¹.

К тому времени, как пацан вроде меня отваливает от матери, она считай что перестала существовать. Священник говорит, в жизни каждого есть пустота в форме Бога, но единственное, чем люди гетто могут заполнить пустоту, это сама пустота. Семьдесят второй год – это вам вовсе не тыща девятьсот шестьдесят второй, и люди до сих пор нашептывают (кричать в полный голос – попробуй сыщи такого сумасброда), что когда умер Арти Дженнингс, то вдруг оказалось, что он забрал с собой мечту. Какую именно, я не знаю. Глупый все же народ. Мечта не ушла, просто люди не узнают кошмара, сами находясь в его гуще. Все больше людей стало перебираться в гетто, потому как Делрой Уилсон¹² взял и спел *«Лучшее еще настанет»*, а вместе с ним это спел человек, который потом станет премьер-министром. Лучшее еще настанет... Человек с прикидом белого, но, когда надо, легко переходящий на нигерский акцент, поет вам *«Лучшее еще настанет»*. Одета, как королева-женщина, которой гетто по барабану, пока оно не взбухло и не взорвалось, тоже поет *«Лучшее еще настанет»*.

Но сначала настало худшее.

А мы смотрим и ждем. Двое доставляют в гетто стволы. Один показывает мне, как ими пользоваться. Хотя люди гетто были привычны убивать друг друга еще задолго до этого. Всем, чем ни попадя, – палками, мачете, ножами, ледорубами, бутылками из-под колы. Убивали за еду. Убивали за деньги. Иногда за то, что одному не понравилось, как на него поглядел другой. Убийству не нужны ни причина, ни резон. Это гетто. Резоны – они для богатых. А у нас правит безумие.

⁸ Десмонд Деккер (1941–2006) – ямайский музыкант в стилях ска, регги и рокстеди.

⁹ Рудбои (от *англ.* rude boy, крутой парень) – представители молодежной субкультуры Ямайки 1960-х, атрибутами которой были агрессивное поведение, легкие наркотики и музыка в стилях ска и регги.

¹⁰ Скитер Дэвис (1931–2004) – американская певица в стиле кантри.

¹¹ Имеется в виду Марти Роббинс (1925–1982), популярный американский исполнитель в стиле кантри-энд-вестерн.

¹² Делрой Уилсон (1948–1995) – ямайский певец в стилях ска, регги и рокстеди.

Безумие бродит вдоль центральной улицы и видит женщину, одетую по последней моде, и хочет прямоком подойти к ней и рвануть у нее сумочку – не из-за самой сумочки и даже не из-за денег в ней, но из-за вопля, когда она увидит, как ты выскакиваешь прямо перед ее нежным лицом и можешь ударом вышибить счастье у нее из губ или радость из глаза, убить ее и изнасиловать прямо тут же, до или сразу после убийства, потому что так рудбои вроде нас поступают с приличной женщиной вроде нее.

Безумие заставляет тебя следовать за человеком в костюме по Кинг-стрит, где голодранцы никогда не ходят. Ты смотришь и видишь, как он вышвыривает недоеденный сэндвич с курятиной, чуешь ее по запаху и изумляешься, как люди могут быть настолько богаты, что используют целый ломоть мяса, чтобы положить его меж двумя ломтиками хлеба, и, проходя мимо мусорного бака, ты видишь его, все еще в фольге и все еще свежее, не побуревшее, как остальные отбросы, и еще без мух, и думаешь «может», думаешь «да», думаешь «надо бы» посмотреть и попробовать, какова она на вкус, курятина без костей. Но ты твердишь себе, что ты не безумец; что безумие в тебе не такое, как у сумасшедших, но безумие гнева, потому как ты знаешь: этот человек выбросил еду специально для того, чтобы ты это видел. И ты даешь себе зарок, что когда-нибудь рудбой начнет ходить с ножом, и в следующий раз ты прыгнешь на него и вырежешь ему прямо на груди: «*Зажрись!*»

Но он знает, что пацан вроде меня не может ходить по центру долго и что вскоре на меня обратит внимание Вавилон¹³. Полицейскому стоит лишь увидеть, что я без обуви, и тут же раздастся: «А ну, паскуды негритосовские! Вы чего тут шляетесь вблизи приличных людей?» И мне предоставится два варианта. Первый – это бежать в один из пронизывающих город проулков, куда он за мной погонится, чтобы можно было подстрелить меня не на глазах у публики. В магазине полно патронов, так что хоть один да попадет в цель. Или же я могу остановиться и тогда заполучу по скуле прямо на глазах у приличных людей – дубинка вышибет мне все коренные зубы и сделает трещину на виске, так что я окончательно оглохну на одно ухо, а мне скажут, что это урок, чтобы я, вонючий ублюдок, никогда впредь не совался из гетто в центр. Я вижу все это, и я жду. А затем возвращаюсь сюда снова, хотя никто и не успел хватиться.

Та женщина хочет знать, зачем мы сюда возвращаемся, когда в Америке есть столько для нас хорошего – рис «Анкл Бенс», например. Нас занимает, зачем ты туда едешь – за хитовыми песнями, что ли? Кое-кто из нас продолжает смотреть, как ты проплываешь по гетто, вроде мелкой рыбки по большой реке. Теперь-то мы знаем твою игру, но в ту пору еще нет – насчет того, как ты водил дружбу с одним бандюком здесь, кичился связью с *растой* там, щемился с тем ушлым и этим рудбоем, знался даже с моим отцом, так что каждый знал тебя достаточно, чтобы проникнуться, но недостаточно, чтобы озаботиться захомутать. Поешь ты обо всем без разбору, лишь бы сделать хит, даже то, что известно одному тебе, а остальным до лампочки. «*И я люблю ее*» исполняешь потому, что Принц Бастер делает кавер на «*Ты меня больше не увидишь*», который попадает в чарты¹⁴. Ты используешь все, что имеешь, даже не свои мелодии, поешь их усердно и непрерывно и все-таки выпеваешь себя из гетто. К семьдесят первому году ты уже на телевидении. Я в семьдесят первом прошел через свой первый отстрел. Мне было десять.

Цена жизни в гетто – ломаный грош, убить пацана ничего не стоит. Помню последний раз, когда отец пытался меня спасти. Он прибежал домой с фабрики – помнится, мы с ним оба стояли, и я лицом упирался ему в грудь, а он дышал часто, как загнанный пес. Остаток вечера мы коротали дома, стоя на коленках. Он говорит, игра такая – громко так сказал, быстро.

¹³ Вавилон – в растафарианстве совокупное название западного общества, его образа жизни и связанных с ним атрибутов.

¹⁴ «And I Love Her», «You Won't See Me» – названия знаменитых песен группы «Битлз».

Кто первый встанет, тот проиграл. Ну, я тогда встал – мне же десять, я пацан рослый и устал от этой самой игры, а он заорал, схватил меня и пихнул в грудь. Я тогда запыхтел, хотел разреветься, набрал уже воздуха, чтоб заорать, и тут первая прошила стенку, как все равно что камушек булькнул в воду – «стук». А за ней еще и еще. И вот уже давай тарабанить по стенке – «па-па-па-па-па-па», – только последняя цвенькнула по кувшину, а там уж как дождик застучал – седьмая, десятая, двадцатая, – посыпалось, «чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу». Отец ухватил меня, пробовал закрыть мне уши, да так сильно, что сам не заметил, как давит мне на глаз. А я слышу все эти пульты – «па-па-па-па-па-па», «тиуу-тиуу-тиуу» – и чувствую, как пол сотрясается. Орут все: и мужчина, и женщина, и пацан – так, будто жизнь вот-вот оборвется, и кажется, что вопль обрывается из-за крови, что бьет вверх из горла, и «бульк» – человек ею давится. Отец меня жмет книзу, затыкает мои вопли, а я норовлю тяпнуть его зубами за ладонь – он же мне еще и нос зажимает, – я ему «папуля, пожалуйста, не убивай», а он трясется трясом, и земля тоже ходуном ходит, и ноги, ноги вокруг: все бегает, падают ничком, носятся, гогочут, вопят как очумелые – мол, всем из Восьми Проулков крышка. А отец придавил меня к земле и закрыл собой – тяжелый такой, а мне нос ломит, и чую, как пахнет машинной смазкой, а на спине у меня то ли его колено, то ли еще что, а у пола горький вкус, и я понимаю, что это рыжая мастика, и хочу, чтобы он с меня слез, и все вокруг «бум-бум-бум», будто кто в чулках топчет. А когда отец наконец с меня слезает, люди снаружи все еще вопят, но уже без «па-па-па» и без «тиуу», а он плачет, а я его ненавижу¹⁵.

Через два дня мать заявляется домой со смехом – новое платье у нее, дескать, самое нарядное во всех этих сраных трущобах, – а отец ее увидел, потому как на работу не ходил, и никто не выходил на улицу: вдруг опять заваруха. И вот он на нее напустился, хватъ ее: «Ах ты, – говорит, – проблядь потаскушная, вся как есть мужиками провоняла, спущёнкой аж с порога несет!» Схватил ее за волосы и на ей в живот. А она давай вопить, что он и не мужик, блоху и ту топтануть не может. А он: «Ах, так тебя, значит, потоптать надо? Ну так я тебе щас хер подыщу как раз по твоей дырке». Опять хватъ ее за волосы, затаскивает в комнату, а я смотрю из-под одеяла, куда он меня спрятал, если кто дурной ночью нагрывает, схватил швабру и давай мать ею охаживать с головы до самых пят, с переду до заду – она вначале орала, потом затыкала, а затем уж просто заскулила, – а он ее лупасит и приговаривает: «Вот тебе, лярва, раз ты хотела, толстым концом по макушке, по всей твоей блядской сучьей наружности». Распалился, ноги ей пинком раскинул и давай шваброй целиться. Измутьзил досиня и выпнул из дома, и одежду ее следом выкинул. Ну, думаю, последний раз я мать свою видел. А она назавтра, гляди-ка, является – перебинтованная вся, прямо как мумия из фильма, что у нас за тридцать центов в «Риальто» кажут, – а с нею трое. Хватают втроем моего отца, но тот не дается. Дерется как дьявол, прямо как Джон Уэйн¹⁶ на экране, как истинный мужик должен драться. Но он-то один, а их трое, а там и вовсе стало четверо. Четвертый появился, когда они отца ухайдакали в хлам. «Меня, – говорит, – зовут Шутник, я здесь следующий стану доном, а ты знаешь кто? Знаешь, как ты зовешься? А, гондон ты штопаный?» А мать моя ржет, хотя смех-то у нее пополам с кашлем – сильно ей от отца перепало. Шутник и говорит: «Ты думаешь, если на фабрике мантулишь, то значит, главный перец на деревне? Так ты знаешь, какое твое имя, козлина? Стукач тебе имя». И сказал, чтобы все вышли. «А меня, – говорит, – знаешь, почему Шутником кличут? Потому что я шуток никому не спускаю».

Шутник, он даже в тени смотрелся светлее остальных, только кожа красная, будто кровь у него под ней кипит, или как у белых, которые долго лежат на солнце, а глаза серые,

¹⁵ Здесь и далее: редакция сочла возможным оставить в тексте нецензурные слова и выражения, а также упоминания о приеме персонажами наркотических средств, поскольку в контексте данного романа употребление всего этого неизбежно, при этом не несет позитивного характера.

¹⁶ Джон Уэйн (наст. Мэрион Роберт Моррисон, 1907–1979) – американский актер, называемый «королем вестерна».

как у кошки. И вот он говорит отцу – мол, сейчас ты умрешь, прямо сию минуту, но если ублажишь, то, может, я тебя и пощажу, как ту львицу в *«Рожденной свободной»*. Из гетто, правда, придется уйти. «Только через это, – говорит, – в живых и останешься» – и еще что-то бормочет, а сам расстегивает ширинку, достает свой причиндал и спрашивает: «Ну так как, хочешь жить? Или не хочешь?» Отец отвечает, что хочет, и сплевывает, а Шутник ему на это подставляет к голове ствол, прямо вот так над ухом. И говорит отцу о том, в какой край ему можно будет податься и выблядка своего забрать с собой. Как он это сказал – «выблядок», – я так сразу затрясся, но никто меня под одеялом не углядел. И вот он повторяет: «Хочешь жить? Хочешь или нет?» – раз за разом, прямо как девчонка-задирала, и водит стволом отцу по губам. Отец тогда приоткрывает рот, а Шутник говорит: «Смотри, головку укусишь – я тебе в шею шмальну, чтоб ты слышал, как дышаешь» – и сует свой причиндал отцу в губы; сует и говорит: «Сосешь ты, как рыба дохлая, давай хоть лижи». И сам стонет, стонет, как от кайфа, и отца делает в голову, а затем отодвигается, приподнимает отцу подбородок и «кхх» из ствола. Именно «кхх», а не «бум», как в кино про ковбоев или Гарри Каллахана¹⁷ – резко так, будто пробка жახнула на всю комнату. Кровь на стену так и брызнула лужей. Я ахнул, но вышло одновременно с выстрелом, а потому никто не узнал, что там под одеялом я, ни живой ни мертвый.

Прискочила обратно мать – хохочет, отца пнула, – а Шутник подошел к ней и пальнул в лицо. Она брякнулась прямо на меня, потому, когда он скомандовал меня найти, они искали везде, только не под матерью. Шутник говорит: «Представляете? Этот педрила сказал, что отсосет у меня с причмоком и будет ублажать и дальше, если только я его оставлю в живых. Да как ухватится, грязный извращенец, и давай мне хер наяривать. Нет, правда, представляете?» Так вот стоит и говорит, а его люди вокруг ищут меня, но только сверху лежит мать, а пальцы у нее как раз у моего лица, и я смотрю через них, как сквозь решетку, и не плачу, а Шутник все распинается, как он знал всю дорогу, что мой отец извращенец – кто б в здравом уме довел свою бабу до блядства через то, что ей дома даже шишку запарить было некому. Только, говорит, Шотта Шерифу об этом ни слова.

В доме теперь тихо. Я сталкиваю с себя мать, довольный, что темно, но уйти не могу – меня же могут поймать, – а потому смотрю и жду. А пока я жду, мой отец, что на полу у двери, встает, подходит и говорит, что английский – лучший в школе предмет, потому как, даже если ты захочешь устроиться слесарем, никто тебя на работу не возьмет, если у тебя не подвешен язык, а это самое главное еще до того, как ты начал осваивать ремесло. И что мужчина должен научиться готовить, хотя это и женское занятие, и говорит, и говорит, и говорит, да громко так; у него вообще голос громкий, а сейчас так вообще кажется, что он хочет докричаться до соседнего дома, чтобы его там услышали... хотя нет, он все так же на полу и торопит меня бежать, потому как скоро они вернутся, снимут с него кларксовские туфли и заберут все мало-мальски ценное, да еще и дом вверх дном перевернут в поисках денег, хотя все свои деньги он положил в банк. Он у двери. Я стаскиваю с него те кларксовские туфли, но вижу его голову, и меня начинает рвать. Туфли мне велики, и я в них шлеп-шлеп-шлеп на заднюю часть дома, где снаружи только старая узкоколейка да кустарник, и тут я запинаясь о чертову свою шалаву-мать, которая вдруг дергается, будто живая, но это только кажется. Залезаю на подоконник и спрыгиваю. Туфли для бега слишком велики, поэтому я их снимаю и бегу через кустарник, по битому стеклу, мокрому дерьму, сухому дерьму, по непогашенному огню, и мертвая узкоколейка выводит меня из Восьми Проулков, и я бегу и прячусь за кустом юкки, пока солнце не становится оранжевым, затем розовым, затем серым, а затем солнце уходит и всходит луна, круглобокая. Тут я вижу, как мимо проезжают три грузовика, где всего по одному человеку внутри, и бегу, бегу до самых Мусорных земель, где ничего,

¹⁷ Гарри Каллахан – киногерой, вымышленный полицейский детектив из Сан-Франциско.

кроме отбросов,хлама и дерьма на целые мили. Ничего, кроме того, что выбрасывают обитатели окраин, и этот мусор громоздится холмами, долинами и дюнами, как пустыня, и везде горит и дымится, а я все бегу, не останавливаюсь, пока не вижу въезд в другое гетто, он под охраной, но рядом там стоит грузовик, и я под него подныриваю и снова бегу, а вслед мне кричит какой-то мужчина, и вопит какая-то женщина, а дома здесь стоят по-иному – ближе, теснее, – а я все бегу, и кто-то там вылетает с автоматом, но женщина кричит, что это всего лишь мальчуган и он в крови, и тут я обо что-то стукаюсь, падаю и начинаю реветь во всю глотку, а надо мной стоят двое. Один из них наводит ствол, а я теперь лишь сиплю, как, бывало, отец во сне, а тот, что со стволом, сверху кричит: «Ты откуда? От тебя воняет, как от тех ублюдков с Восьми Проулков!» А второй говорит: «Он ведь щегол совсем, да еще в крови. В тебя что, пацан, стреляли, что ли?» А я даже говорить толком не могу, встал и мелю вздор, типа «Кларкс – добрые туфли. Кларкс – очень добрые...». Тогда тот, что со стволом, передергивает затвор, но ему кто-то кричит: «Ишь, как у Джоси Уэйлса руки чешутся! Ему бы все только через “бам-бам” решать!» И тогда они оба отходят, но многие другие собираются, в том числе женщина. А потом все расступаются, как Красное море перед Моисеем, и ко мне подходит один. Останавливается. «Это как понимать? – говорит. – Никак Шотта Шериф сам за отстрелы взялся? Не знает, чем кормить своих бойцов, и решил убавить численность? Вот какой, оказывается, в Восьми Проулках контроль за рождаемостью». Тут все давай смеяться. Я ему, мол, «мама, папа» – сам больше ничего выговорить не могу, – а он мне кивает с пониманием. «Хочешь с ним посчитаться?» – спрашивает, а я хочу сказать «за отца – да, а за мать – нет», но изо рта только «ы-ы-ы», и еще я киваю, будто получил по мозгам и речи лишился. Он говорит: «Ничего, уже скоро» – и подзывает женщину, которая хочет взять меня за руку, но я хватаю те туфли, и он смеется. Большой такой мужчина, в белой вязаной «сеточке», которая под фонарем будто светится и освещает ему лицо, что в основном спрятано в бороде, только глаза у него большие и будто светятся сами собой, и улыбается он так, что толщина губ едва заметна, а когда перестает улыбаться и щеки опадают, то борода будто клином врезается в лицо, а глаза смотрят так пристально, холодно. И он говорит: «Пускай они знают, что в Копенгагене не собаки живут, у нас здесь не как в гетто» – и посмотрел на меня так, будто может говорить без всяких слов, и я знаю, что он видит перед собой что-то такое, чего можно использовать. И говорит: «Принесите этому парню ананасовой воды», а женщина говорит: «Будет сделано, Папа Ло».

И вот с той поры я живу в Копенгагене, вижу отсюда Восемь Проулков и жду своего дня. На моих глазах человек из Копенгагена вначале ходил только с ножом, затем с ковбойским ружьем, затем с «М16», а теперь уже с таким стволищем, который он сам едва таскает, и мне исполняется двенадцать, или, по крайней мере, я так думаю, потому как Папа Ло называет тот день, когда я к нему попал, днем моего рождения. Дает он ствол и мне и называет меня Бам-Бам. И мы с еще одним пацаном ходим на Мусорные земли учиться стрелять. В первый раз у меня от звона и отдачи плывет в голове, и все смеются и зовут меня шибзде-нышем, но я им говорю, что так ночью звал мохнагу их мамыши, когда ей вставлял, и все опять смеются, а Джоси Уэйлс сует мне в руку ствол и показывает, как целиться. Я расту в Копенгагене, смотрю, как меняются стволы, и знаю, что они появляются не через Папу Ло. Появляются они от тех двоих, что привозят оружие в гетто, и одного, что показал мне, как с ним управляться.

Мы – то есть я, Сириец, Америкос и Доктор Лав у хибары возле моря.

Барри Дифлорио

Снаружи всего одна вывеска, но такая здоровенная, что даже внутри видны желтые изгибы логотипа, накрененного с крыши. Огромная настолько, что когда-нибудь непременно свалится, скорее всего, на какого-нибудь малолетку-школьника, решившего заскочить сюда по случаю отмены последнего урока. Вот он забегают на порог, а логотипище в этот момент скрипит, приходит в движение, но малолетка этого не слышит из-за урчания в животике, тянет на себя ручонками дверь, и тут – «бах». Ох как будет ругаться эта маленькая душонка! Распоследними словами, когда уяснит, что именно его прихлопнуло. «КИНГ БУРГЕР НЯМ-НЯМ» – такая вот надпись.

Есть здесь еще и «Макдоналдс» – подальше, вниз по Хафуэй-Три-роуд. Логотип на нем синий, а люди, что там работают, божатся, что в задней комнате у них сидит мистер Макдоналд. Но я сижу в «Ням-Няме», он же «Кинг Бургер». Об американском «Бургер Кинге» здесь слыхом не слыхивали. Внутри заведения стульчики из желтой пластмассы, столы из красного стекловолокна, а слово «меню» прописано художественно, как на киноафише. В три пополудни здесь никогда не бываетлюдно, потому-то я сюда и прихожу. Многолюдство исконно вызывает во мне нервозность: стоит коротнуть, и от малейшей искры стая имеет свойство обращаться в толпу. Может, оттого и весь этот кипеж снаружи. На Ямайке я с января.

У кассы здесь висит табличка, где указано, что, если бургер для вас готовится дольше пятнадцати минут, вы получаете его бесплатно. Два дня назад, когда я через шестнадцать минут постучал по циферблату, кассирша сказала, что это относится только к чизбургерам. Вчера, когда сверх положенного припозднился мой чизбургер, мне сказали, что правило распространяется только на куриные сэндвичи. Винить «ням-нямов» я не могу: запас бургеров у них, должно быть, роздан на полгода вперед. И все-таки сюда мало кто захаживает. Одна из черт, наиболее ненавистных мне в моих согражданах-американцах: когда и куда бы они ни летали за границу, первое, что они делают, это пытаются разыскать здесь что-нибудь от Америки, и желательно столько, чтобы не уместилось в обеих руках, пусть это хотя бы жвачка в дешевых забегаловках. Сэлли, которая обретается здесь со времен администрации Джонсона¹⁸, никогда не пробовала здесь ни аки¹⁹, ни соленой трески, хотя я, возможно, двухмиллионный по счету из тех, кто систематически повторяет ей: «Лапка, это то же, что твой омлет, только вкуснее». Мои детишки трескают это с удовольствием. Жена, та изнывает по мэнвичу, рагу или хотя бы по «ужину с гамбургером» из кулинарии, но я лишь желаю ей удачи, если она дерзнет поискать это по супермаркетам. Насчет «найти» я уже не говорю, будучи реалистом: шансы на нуле.

С цыпленком джерк я впервые столкнулся на перекрестке Констант-Спринг-роуд и еще какой-то дороги. К моей машине подошел парень и, опередив мое движение поднять стекло (сломанная ручка заела), крикнул: «Босс, не желаете отведать курочку по-ямайски?» Эдакий верзила в белой майке, с зубами, сияющими на темнокожем лице, и лоснящимися мышцами (еще мальчишка, но по виду уже мужик). От него прямо пахло ямайскими специями. И вот я вышел из машины и проследовал за ним в его забегаловку – мелкую, буквально сараюху, – деревянные стены которой венчала цинковая крыша, выкрашенная в синие, зеленые, желтые, оранжевые и красные полосы. Здоровенным мачете – я таких, право, и не видывал

¹⁸ Имеется в виду Линдон Джонсон – 36-й президент США (1963–1969).

¹⁹ Аки, или Блигия вкусная (лат. *Blighia sapida*) – плодовое дерево семейства Сапиндовые. Плоды грушевидные, длиной 7–10 см, с красно-желтой кожицей. До созревания и термической обработки ядовитые; мякоть по вкусу напоминает грецкий орех. Считается национальным ямайским фруктом.

– этот парняга отхватил у курицы ногу так, будто рассек кус теплого масла. Ногу он подал мне, а когда я собрался приступить к еде, то он прикрыл глаза и покачал головой – мол, «не так надо». Покачал твердо, мирно и категорично. Не успел я и слова сказать, как он указал мне на большущий кувшин с чем-то полупрозрачным, как будто уже слегка стоялым. Надо сказать, что приключений я не чуюсь (жена сказала бы, что я чокнутый). Дело в том, что это был большущий стеклянный кувшин с толченой перечной пастой. Я обмакнул туда курятину и проглотил кусок. Гм... Вы помните ту серию *«Койота и Дорожного Бегуна»*²⁰, где заготовленная Хитрым Койотом бомба взрывается после того, как он ее проглатывает, и из ушей и носа у него валит дым? Или мерную ложечку в суши-баре, куда вы впервые пришли и по наивности прибрали: «А слабо заглотнуть мне эту вот ложку васоби?» Так вот, это сейчас был я. Не думаю, что парень знал, в какое количество оттенков красного способен окрашиваться белый человек. По крайней мере с минуту я плакал горячими слезами и не мог даже икнуть. Мне будто обдали рот смесью сахара с бензином и поднесли спичку: хлоп-бысь! Ё-моё, вот это, блин, эликсир жизни! После этого я еще долго не мог проплакаться, прокашляться и просморкаться.

Я спросил у кассирши, не подумывают ли в «Ням-Няме» над созданием гамбургера с ямайским цыпленком. «Еду гетто, что ли?» – переспросила она с насмешкой, как ее обычно выражают ямайские женщины – туманно поведя очами, подняв подбородок и полуотвернувшись. Сюда я захожу чуть ли не каждый день, и эта деваха работает здесь, похоже, бес-сменно. «Что закажете?» – спросила она. «Чизбургер». – «Вам лимонад или молочный коктейль?» – «Лучше сок. Виноградный» – «И всё?» – «Да». Под видом чизбургера мне подается вамперер – здесь он выглядит так же, как воппер²¹, за вычетом вкуса. Даже лист латука в нем выглядит пристыженным, мокрым и горьковатым – и зачем я его только беру? Наверное, для того, чтобы потом прихвастнуть ребятишкам: «Знаете, что я сегодня ел? Вамперер». (Ух ты! Вампирер? Папик проглотил вампира и всего-то подзаикается.)

Солнце сходит с борта корабля, и наступает вечер. Однако этой стране не мешала бы еще и хорошая дискотека. Сохранить рассудок мне помогает единственно смена мест, кочевка из страны в страну каждые три-пять лет. Впрочем, в Конторе сохранить рассудок на протяжении всей карьеры не удастся никому. Самые сумасбродные словеса, которые я когда-либо слышал, исходили от моего предшественника на посту резидента, еще изрядно до того, как он попал на суд совести. А сейчас здесь находился его сын, прибывший рейсом DC-301 из Нью-Йорка. Здесь он уже три дня, но при этом не догадывается, что мне известно о его присутствии. Дело не в том, знает он о моей осведомленности или нет; идея устроить своему чаду День открытых дверей его папашу особо не занимала. Из местонахождения сына секрета не делалось, но когда сын бывшего резидента Конторы вдруг объявляется на Ямайке, даже у его сменщика закрадываются подозрения, нет ли здесь чего-то между строк.

Ходит молва, что он кинорежиссер – или, во всяком случае, один из тех богатеньких детишек, кому хватает денег на собственную кинокамеру. Прибыл он с оравой фотографов и киношников на концерт мира, который готовит тот регги-музыкант, что на сегодня популярней кока-колы. Мероприятие обещает быть большим, и хотя я здесь всего лишь с января, даже я знаю, что этой стране нужен хоть худенький мир. Тем более что от парня в кресле здешнего премьер-министра его не очень-то дожدهшься. И вот этот крутой регги-парень готовит концерт, организованный партией премьер-министра, который делает того регги-парня звездой мировой величины. Из посольства приходят вести, что сюда прилетает Роберта Флэк и уже прибыли Мик Джаггер с Китом Ричардсом из «Роллинг Стоунз», чтоб их всех.

²⁰ «Хитрый Койот и Дорожный Бегун» – популярный американский мультсериал.

²¹ Вамперер, воппер – виды многослойного гамбургера; стандартное блюдо сети «Бургер Кинг».

Нет, большого регги-парня я не слушаю. Регги монотонен и скучен, а барабанщик – бездельник немногим лучше кассирши «Ням-Няма». Мне ближе ска, милее Десмонд Деккер. Как раз вчера я спросил кассиршу «Ням-Няма», он же «Кинг Бургер», нравится ли ей «Об-ла-ди Об-ла-да»²², и она посмотрела на меня так, будто я предложил ей чмокнуть меня в за-сос. «Чё-чё?» – переспросила она. «Ну тогда что ты слушаешь?» – «“Биг Юс”, “Майти Даймондс”»²³, – перечислила она. «“Биг Юс” и “Майти Даймондс” – оно, конечно, круто. Но скажи ты мне, хоть один из них значится в гребаной битловской песне, как Десмонд Деккер?» На что она ответила: «Сэр, прошу вас следить за речью. В нашем заведении чтут закон».

Как конструируется несчастный случай? Незаменимых в Конторе не бывает, но иногда я недоумеваю, почему на их место просто не ставится кто-то другой. Без вывертов и подковырок. Фундамент для карнавала в Монтевидео готовил, во всяком случае, не я. А чем все обернулось – не описать словами. Впрочем, мне нравится работа, о которой нельзя рассказывать. Так легче сохранять другие секреты. Жена у меня в конечном итоге пришла к осознанию, что в ходе нашей супружеской жизни возникали и возникают кое-какие вещи, о которых она не прознает никогда; ей остается лишь свыкнуться с тем, с чем свыкаются все другие жены. Знать два факта из каждых четырех. Пять поездок из каждых десяти. Одну смерть из каждых пяти. Не думаю, что она имеет четкое представление о характере моих занятий. По крайней мере, этой версией я тешу себя на этой неделе. Я на Ямайке, и почти все идет по плану. Это туповатый способ выразить, что все движется так хрестоматийно легко, что работать здесь, можно сказать, даже скучновато. Совсем неудивительно, что ямайцы имеют свойство вести себя так, как ты предугадываешь. На кого-то, может, это действует освежающе, а для кого-то это просто облегчение.

Так, случай с парнем, угостившим меня курицей джерк, произошел в мае, в новом для меня месте, где я вдруг проникся желанием вкусить настоящей Ямайки. А следовал я за человеком в машине, что держалась четырьмя автомобилями впереди. Человеком, который представлял глубокий интерес и которого возле отеля «Констант Спринг» подобрал шофер. Первоначально я думал, что меня доставили сюда затем, чтобы я за ним следил, но оказалось, что это он ходит за мной. В свое время он работал на Контору, пока тоже не угодил на фатальный суд совести. Вот что случается, когда начальство привычно рекрутирует отбросов «Лиги плюща»²⁴, пидоров из элитных подготовительных школ, американских Кимов Филби²⁵, ждущих входа если не с холода²⁶, то, во всяком случае, из клозета. К тому времени как я выяснил, что этот человек на Ямайке, он был уже в курсе, что я нахожусь здесь. Агентом под прикрытием я не являюсь – поздновато. Хотя жаль, что в свое время не внес в этот вопрос ясность. Он до сих пор так толком и не решен, а я уже скучаю по «холодной войне».

Из Конторы Билл Адлер уволился в 1969 году; отставка вышла желчной. Возможно, он был просто озлобленным леваком, каких в Конторе, надо сказать, все еще пруд пруди. Хорошие подчас оказываются худшими, посредственные – винтиками с навыками прослушки. Но хорошие в итоге становятся им или мной. А он иногда бывал очень хорош. Когда он развязался с Эквадором – четыре года работы, проделанной им, с позволения сказать, *с бойкостью*, – мне оставалось единственно подчистить хвосты. Разумеется, я с куда большей охотой напомнил бы ему о том великолепном бардаке в Тлателолько. Шеф тогда окрестил

²² «Об-ла-ди Об-ла-да» – знаменитая композиция группы «Битлз», главным героем которой является юноша по имени Десмонд.

²³ Популярные в 1960-х гг. исполнители регги.

²⁴ «Лига плюща» – ассоциация восьми старейших университетов Америки.

²⁵ Ким Филби – советский разведчик в Британии.

²⁶ «Шпион, вернувшийся с холода» – знаменитый роман Джона Ле Карре.

меня новатором, хотя я всего лишь следовал инструкциям Адлера. Использовал потолочные микрофоны, как в свое время он в Монтевидео.

При всем этом ЦРУ он покинул в 1969 году с весьма спорной характеристикой и с той поры доставлял головную боль и подвергал опасности жизни агентуры. В прошлом году он накропал книгу – не шедевр, но с несомненными «зернами». Мы знали о ее предстоящем выходе, но не препятствовали, делая ставку на то, что своими устарелыми разведанными она послужит неплохим отвлекающим маневром, помогающим нам успешно делать реальную работу. Оказалось, что та информация отменного качества (а почему бы и нет, если вдуматься). Имена он тоже указал. Внутри Конторы. Высокое начальство этот опус не читало, но это сделал Майлз Коупленд – еще один премудрый пескарь, заправлявший в свое время каирской резидентурой. Он тогда перешерстил лондонский офис с самого низа. После этого в Афинах оказался убит Ричард Уэлч: пал от рук «17 ноября» – второсортной террористической группировки, которой я не доверил бы штурмовать даже лавку с леденцами. Ухлопали его вместе с женой и шофером.

И вот при всем этом, зная, на что способен Адлер, я не имел никакого представления, зачем он здесь. Адлер не был официальным гостем правительства (это было бы непоправимым *faux pas*²⁷ со стороны премьер-министра, особенно после перекидки какашками с Генри Киссинджером всего пару-тройку месяцев назад). Хотя премьер был определенно доволен его приездом. Я же сейчас находился в ожидании распоряжений от головного отдела насчет нейтрализации угрозы со стороны этого человека или, во всяком случае, приказа ее приглушить. Его пригласил Ямайский совет по правам человека, понуждая меня открыть девственно-чистую папку на моем и без того уже загроможденном столе. Через несколько дней этот гостенёк уже произносил речи – долгие, обо всем подряд (н-да, не того человека называли Кастро). О том, как люди вроде меня были с ним в Латинской Америке, и это вызывало у него сильнейшую неприязнь, особенно в Чили, когда мы поспособствовали приходу Пиночета.

По имени он меня не называл, но я вполне понимал, кого он имеет в виду. Звал нас всадниками апокалипсиса, дестабилизирующими любую страну, остающуюся у нас за кормой. Патетики хоть отбавляй, и все время со ссылкой на свой труд, сложившийся в целый свод инструкций. А это именно то, что нужно премьер-министру, – длинное, многосложное словцо вроде «дестабилизации», которым можно раззванивать, как бубенчиком. И при этом он ставил нас в такую глухую оборону, что допустить такое повторно было решительно невозможно.

Понятное дело, внимала ему исключительно аудитория «Пентхауса» (черт возьми, почему совесть Америки вменяет себе в обязанность листание фоток с голыми письками? Ей что, зарплату платят за *это*?). Парни вроде Адлера; деятели, которым вдруг шибает в голову дух миссионерства, разоблачительства злобной Америки, хотя они всего лишь белые парни с отягченной совестью, которые никак не могут решить, когда же им завязать. Ну а Контора все не могла определиться, пора ли мне завязать с ним самим.

В какой-то момент Адлер стал заявлять, что располагает доказательствами, будто бы Контора стояла за поджогом некой квартиры на Орандж-стрит, что явилось причиной смерти около десятка кубинцев и аукнулось волнениями ямайской портовой инфраструктуры. И что у него есть косвенные улики того, что Контора ссужала партийные деньги оппозиции (вот уж действительно бред сивой кобылы – доверять деньги кому-то в стране третьего мира: моветон, да и только). Не знаю, отчего он не ограничился посылкой заметок в «Мазер Джонс», «Роллинг стоун»²⁸ или типа того. Не успела Контора снабдить меня четкими директивами насчет действий, как он уже был таков и отчалил, если верить моим глазам и ушам, в сто-

²⁷ Тяжким проступком (*фр.*).

²⁸ Названия популярных журналов с рубриками, в т. ч. о политике и культуре.

рону Кубы. Но урон этот ублюдок все-таки нанес. Он выложил ямайцам имена. Да-да, имена, драть их некому. Не мое, но одиннадцати сотрудников посольства, тем самым сорвав маскировку как минимум с семи из них. Ребят пришлось буксировать обратно еще до того, как кто-то сообразил, что их вроде как раскусили по именам. Из-за Адлера мне пришлось начинать все сначала. С середины сентября, в год, для всех пустопорожний. Все с чистого листа, что уже оборачивалось проблемами.

Проходя мимо кабинета, я случайно слышал телефонный разговор Луиса о том, что поставка через порт нагнулась. Я навел кое-какие справки: никто из его офиса не заказывал поставку чего-либо, а если и да, то они безусловно не стали бы направлять ее через ямайскую таможню, где она оказалась бы на две трети разворована. Доступом к закрытым данным этот деятель пользуется точно так же, как я, но мне не нравится, когда подлый изменник-агент где-то на Кубе узнает о пропаже чего-то еще до того, как я прознал, что должен этой пропажи хватиться. Это означает, что его низовые сыщики все еще имеют более четкую картину, чем я, а ведь мне заправлять всем этим гребаным шоу. Луис, судя по голосу, был не очень-то удручен, докладывая об этих казусах бог знает кому, а я уже устал стоять под его дверью в позе наушника.

К тому же недавно позвонила жена и сказала, что у нее снова кончились вишенки для десертов. Повторюсь еще раз: «холодная война» еще не закончилась, а я по ней уже скучаю.

Папа Ло

А вот теперь вы меня послушайте. Я ж его предупреждал, милые мои люди. Давно уже трубил эти самые предупреждения, ежели у кого уши не завешаны, о том, что друзья и недруги как пить дать укут его в беду, да еще какую. Нам же всем хоть кто-то из них да известен, разве нет? Такие важные, держатся по-особому. Всегда рассуждают чинно, но хоть бы раз предложили что-нибудь дельное. Вечно плетут что-то блудное, но хоть бы раз предъявили людям план. Такое вот племя. Вот и мой друг – самая большая суперзвезда на свете, а ум, получается, непрозорлив, как у выходца из гетто, хоть я его и чту как друга. Имен не называя, скажу, что Певца я исконно предупреждал. Говорил: «Под сердцем ты пригрел тех, кто тебя рано или поздно утопит, ты меня слышишь?» Снова и снова это ему втемашивал. Аж сам притомился так, что надоело. А он знай себе хохотал хохотом, который звенел по всей комнате. Хохот человека, у которого будто уже есть план.

Люди думают, я все понимаю от и до. Может, оно и так, достославные джентльмены, но видит Джа: иногда до меня не доходит, пока не становится слишком поздно, – а что толку знать, когда уже поздно? «Иногда лучше б вообще ничего не знать», – говаривала мне мамаша. Хуже, когда ты без остатка представляешь собой настоящее время, а вокруг тебя одно прошедшее и с ним приходится иметь дело. Вот вы поглядите окрест. Видите все это? От старого кладбища к западу до бухты к югу и весь юг Западного Кингстона? Этим всем заправляю я. Восемь Проулков – это задворки, пускай они там живут своим укладом. Потом есть еще территория посередине, за которую нам приходится биться; иногда мы проигрываем. Певец в свое время жил в Тренчтауне, поэтому кое-кто держал его на подхвате у Народной национальной партии. Это ладно; я все равно готов принять за него пулю, а он – за меня.

Но есть еще и новые ребята, которые никогда не танцуют рокстеди и им нет дела до украшения танца; эти ребятки ни на кого не работают. Сами за себя. Я понуждаю голосовать за зеленый цвет Лейбористской партии Ямайки; Шотта Шериф приглядывает, чтобы народ голосовал за оранжевый цвет Национальной партии. А эти, новые, выжимают деньги целиком себе в карман. Сейчас на них уж и управы нет.

Нынче, когда Певец в начале года отправлялся на гастроли, он умолял, чтобы я поехал с ним поглядеть Лондон, – хотя как бы я туда поехал: стоит мне заснуть хоть на час, в гетто начнется форменный армагеддон, – и Певец оставил у себя в доме кое-кого из той братии. Стоило ему уехать, как эта самая братия поназвала отморожков из Джунглей, потому как что-то такое замыслила. Что-то шумное, по-крупному, вроде серии, где Ганнибал Хейс с Кидом Карри²⁹ грабят банк, а деньги им еще и передает сочная деваха. Мы пытаемся блюсти мир – в смысле, мы с Шотта Шерифом; но когда что-то не срастается – то вдруг школьницу пристукнут за мелочовку, то женщину могут отодрать по дороге в церковь, – то делает это обычно кто-нибудь из мазафакеров Джунглей, по алчности и узколобости своей. И получается, эти самые мазафакеры вяжутся с друзьями Певца в его собственном доме и что-то там мозгут.

И вот как-то раз, за неделю до Королевских скачек, из Джунглей прибывают пятеро и едут аж на ипподром «Кайманас-парк», прямо в день тренировочного заезда. Приезжают и ждут, когда на стоянку выйдет наиглавный жокей, самый призовой, который никогда не проигрывает. И прямо когда он выходит, весь как есть в жокейских своих цветах, двое хватают его и мешок на голову. Увозят его невесть куда и что-то такое с ним делают, не знаю что, но, когда приходит суббота, он продувает все три заезда, в которых участвует, – три круга, в которых ему выиграть нет ничего, – в том числе и гонку фаворитов. А в понедельник улетает рейсом на Майами – и *пишиит*! Как в воду камень. Никто не знает, где он, даже родные.

²⁹ Ганнибал Хейс, Кид Карри – герои американского гангстерского телесериала.

Ставки на коней стары как мир, так же как и сами скачки, но кое-кто – небольшая кучка – на них жутко обогащается. Состояние делает в минуту. И в ту же неделю, как исчезает тот жокей, пропадают и те двое из Джунглей – *пишиит!* И словно их даже на свете не было. А кое-кто из братии отправляется вдруг на паломничество в Эфиопию. Вот прямо невтерпёж им Рас Тафари³⁰ поклониться. Рас Тафари, оно понятно, мы чтим донельзя, и посетить его родину, уж где он там упокоился, каждый должен. И тут, когда народ спохватывается, вдруг выясняется, что братья-то паломники, оказывается, дали деру вместе со всеми деньгами. Куда делись, неизвестно, и главное – деньги как корова языком слизнула.

Это было начало. А потом полилось, как из шланга, и напрямиком на Певца с его домом. Кто в нем, дескать, засел? Отпетый мошенник, со сплошным жульством на уме, – и где? В тот самом доме, где должна жить сплошь музыка, источая чистый дух. Я помню время, когда это было единственное место, где любой, неважно, на какой он стороне, мог избежать пули. Разъединственное место в Кингстоне, где одно лишь тебя пронзало – музыка. Но те мазафакеры изгадили его своей скверной; уж лучше б они забрались ночью в студию и нахезали на пульт – имен называть не буду. И вот когда Певец вернулся с гастролей, его там уже ждала свора из Джунглей – самых что ни на есть чугунолобых ямайских отморожков. И наплевать им, что человек был на гастролях, о скачках слыхом не слыхивал и никого в жизни не обманул. Они ему говорят: «Вся эта хрень тут у тебя затевалась, а значит, ты и в ответе». И потащили его на взморье, в Хеллшир-Бич: а ну поехали, мы тебя рыбкой угостим.

Он мне все это сам рассказывал. Теперь-то он человек, который с самим Богом и дьяволом мог бы вести беседу, да еще и спросить, в чем между ними разница, коль и тот и другой без женщины. Но в то утро к нему нагрянули в шесть ноль-ноль, перед тем как он выходит на пробежку, делает упражнения и каждое утро купается в реке. То, скажу я вам, был первый знак. Никто не смеет вторгаться в утро Певца: в это время само солнце встает, чтобы отправить ему послание, Святой дух шепчет, какую песню спеть следующей, а сам он ближе всего к зениту. Но все равно он с ними отправляется. Его везут в Форт-Кларенс-Бич, милях в двадцати от Западного Кингстона – через залив, но так близко, что видно с этого берега. Он мне все это сам рассказывал. А при разговоре они все время прятали глаза, переминались и глядели в землю – не хотели, видно, чтобы он их лица подмечал.

– Твои друзья, бро, затевались с нами на одно дельце, ты мекаешь? Приконали в Джунгли подряжать, чтобы кто-нить сделал за них грязную работенку. И дело обкашливать повезли нас к тебе на базу, слышь?

– Слышу, юноши, но в первый раз, – говорит он им. – И ничего об этом не знаю.

– Ай-ай! Нам, бро, вообще-то похуйственно, что ты нам говоришь. Бизнес обкашливали под твоей крышей, значицца, тебе и отвечать.

– Это отчего же? Те люди не я, не сватья мне и не братья, чего это мне ответ за них держать?

– Ай-ай... Ты чё, бро, не слышишь, чего мы тебе заясняем? То есть мы тут базарим, базарим, а ты и на ум не мотаешь? Бизнес, говорим, под твоей крышей срастался, а те перцы, как вонючие сунсы, ноги сделали, по жадности, ты мекаешь? Мы вон как на жокея наехали: «Ты те три круга сливаешь, иначе мы к тебе придем, а еще к бабе твоей, у которой твой малютка в животике». И вот мы делаем твоим друзьям доброе дело, и жокей его делает, и все его им делают, а они – раз, и со всем наваром делают ноги, а бедняки остаются в бедняках. Это ж как можно? Это ж охренеть можно. Ай-яй-яй...

– Не знаю, босс, – говорит он тому, кто сильнее всех горло дерет; короткий такой крепыш, от него еще опилками пахнет. Я знаю, о ком он. И они ему говорят:

³⁰ Рас Тафари Мэконнын (после коронации Хайле Селассие I, 1892–1975) – последний император Эфиопии; по его имени получило свое название растафарианство, а сам он признан одним из воплощений бога Джа на земле.

– Нам наши деньги нужны, ты пропёр или нет? И потому мы каждый день, утром и под вечер, будет присылать к тебе парнишку на моцике, чтоб он два раза забирал по посылке, ты нас понял?

Сколько денег они затребовали, он мне так и не сказал, но глаза и уши у меня все же есть. Они сказали, что за всю ту затею им причитается сорок тыщ. А не получили они ни гроша. И за это ждут теперь самое малое десять, а может, и больше. Мы теперь, дескать, каждый день будем ждать от тебя посылку с кэшью, пока сами не решим, когда хватит. А он им и отвечает:

– Ну уж нет, ребятаки. Это все подстава, я за нее не отвечаю и платить ничего не буду. Вы сами рассудите, каково это для меня? Вас там три тыщи, а я должен один всю вашу ораву кормить дважды в день? Три тысячи вас! Не, не пойдет.

А дальше – вы меня слышите? – произошло вот что. Они почти все повыхватывали стволы и наставили на него, прямо посреди пляжа. Некоторые совсем еще шалопаи, лет по четырнадцать, а уже повыхватывали: смотри, дескать, с кем имеешь дело. Это, надо сказать, был уже совсем новый оборот. Раньше так не поступал никто. Все, милостивые господа, – *все!* – и в Копенгагене, и в Восьми Проулках, и в Джунглях, и в Реме, и в центре, и на окраинах – знали, что никому не позволительно наводить ствол на Певца. Погода и та чуяла, что это нечто небывалое; какая-то совсем уж черная туча, не виданная раньше в небе. Певец имел дело с семью стволами, которые отморозки повытаскивали кто из кобуры, кто из подвески, кто просто из кармана. И с завтрашнего дня ежедневно, дважды в день, к дому стал подъезжать парнишка на зеленой «Веспе».

Он мне рассказал это как раз в тот день, когда я подъехал его поприветствовать, курнуть травки и потолковать о том концерте в поддержку мира. Многие сетуют, что концерт этот – шаг не очень умный. Одни сочтут, что Певец прогибается для Народной национальной партии, что только усугубляет дело. Другие разуверятся в нем, потому как настоящие раста, по их убеждению, никому не должны кланяться. И урезонить их никак нельзя, так как той части мозга, что отвечает за резон, у них с рождения нет. Хотя насчет меня ему беспокоиться не о чем. Правда в том, что я старею и хочу, чтобы мой отпрыск видел меня уже в таком солидном возрасте, когда меня уже приходится таскать. На прошлой неделе я видел на рынке паренька, который таскал с собой своего деда. Старик без палки уже и ходить не мог, и внучок подставлял ему для опоры плечо. Старик тот меня так разжалобил, что я на рынке чуть не разрыдался. А по возвращении домой прошелся по улице и впервые обратил внимание вот на что: в гетто нет ни единого старика.

И я сказал: «Друг, ты знаешь меня, а с другой стороны знаешь Шотта Шерифа. Так вот, позвони ему и просто скажи: пускай бы он оттеснил людей Джунглей». Но он мудрей меня и знает, что и Шотта Шериф не в силах помочь там, где распоясалась отвязь, имеющая оружие. Месяц назад в порту исчезла партия груза. С той поры времени прошло всего ничего, но у отвязи вдруг стали появляться автоматы, «М16», «М9» и «глоки», и никто не отдает отчета, откуда они взялись. Женщина рожает и растит ребенка, мужчина же способен лишь сделать из него Франкенштейна.

А когда он рассказывал мне о ребятах из Джунглей, то звучал как отец, у которого сын вырос так, что ему с ним не совладать. Он понял еще раньше меня, что я не в силах ему помочь. Я хочу, чтобы вы поняли кое-что важное. Я люблю этого человека безмерно. За Певца я готов получить даже пулю. Но ее, господа, будет достаточно и одной.

Нина Берджесс

Сразу после того, как мне сказали, что вход открыт только для приближенных и для группы, сзади подъехал человек на зеленом, как лайм, мотороллере. Он подъехал почти одновременно с тем, как подошла я; не глуша мотора, молча выслушал наш короткий диалог и укатил, ни словом не перемолвившись с самим охранником. «Это что, прием или доставка?» – пошутила я для отвода глаз, но охранник не улыбнулся и глаз не отвел. С той самой поры, как разнеслась весть о концерте за мир, охрана здесь была едва ли не плотнее, чем в кортеже премьер-министра. «Или в трусах у монашки», – сказал бы мой последний бойфренд. Человек на входе недавно сменился на другого, такого же подозрительного. О концерте слышала не только я, но и, пожалуй, вся Ямайка, так что я ожидала увидеть здесь охрану в униформе или полицию, но никак не таких вот субъектов, вид которых внушал опасение: не стоит ли стеречь вход именно от них? Положение становилось критическим. Может, оно и к лучшему, потому что, едва я вышла из такси, та часть меня, которую я обрубаю после утреннего кофе, воскресла и сказала: «И на что ты здесь рассчитываешь, дура длинноногая?» Чем хорош автобус, так это тем, что следом за ним приходит другой, готовый забрать тебя сразу, едва до тебя доходит, что зря ты все это затеяла. А такси просто ссаживает тебя – и до свидания. Надо хотя бы начать похаживать туда-сюда (ничего более толкового все равно в голову не идет).

Хэйвендейл – это не Айриштаун, но все равно он ближе к центру, и пускай его не назовешь безопасным, но и убогим все-таки тоже. Всё не окраина. На улице не слышно детских воплей, и беременных не насилуют на ходу, как это что ни день бывает в гетто. Гетто я навидалась, живя с отцом. Каждый обитает на своей собственной Ямайке, и боже упаси, если ту можно назвать моей. На прошлой неделе, где-то за полночь, в дом отца вломились трое. Мать у меня вечно высматривает знаки и знамения, и недавняя газетная заметка о том, что враждующие группировки перешли линию Хафуэй Три и начали намечать цели в спальнях районах, показалась ей знаком очень дурным. Еще длился комендантский час, согласно которому даже приличные люди с окраин обязаны к определенному часу находиться дома, будь то шесть, восемь или бог знает сколько часов, иначе тебя схватят. Месяц назад мистер Джейкобс, сосед через четыре дома, возвращался домой с ночного дежурства, и полиция, остановив, безо всяких кинула его в свой фургон и сунула в предварилровку по статье за владение оружием. Он бы все еще там морился, если б папа не нашел судью, который внушил-таки копам, что это откровенная глупость – хватать ни за что ни про что приличных законопослушных граждан. При этом все деликатно умолчали, что для полиции мистер Джейкобс излишне темнолиц, чтобы считаться приличным, несмотря даже на габардиновый костюм.

А затем в дом ворвались грабители. Забрали у родителей обручальные кольца, все мамины статуэтки из Голландии, триста долларов денег, сгребли подчистую всю бижутерию, хотя мама заверяла, что цена ей ломаный грош, прихватили отцовы часы. Папу пару раз стукнули, маме вlepили оплеуху за обращенные к одному из них слова, знает ли его мать, что он грешит. Я хотела было спросить, не согрешил ли он заодно и с нею, но сдержалась, вместо этого лишь сказав: «А чего ты хотела? От осины не родятся апельсины».

Несмотря на беспрестанные ночные звонки в участок полисмен явился лишь в полдесyтого утра, когда уже я сама давно была у родителей (до семи утра они не стали меня беспокоить). Протокол он составлял красной ручкой в желтом линованном блокноте (слово «правонарушитель» для верности произнес себе трижды, чтобы не ошибиться в написании). Ну а когда спросил: «Были ль налицо ахты а'хрессии? Фи'урировало ль какое-то о'нестрельное оружие?», я прыснула со смеху, и мать велела мне извиниться.

Эта страна, этот Богом проклятый остров нас доконает. Отец после ограбления не разговаривает. Мужчине приятно думать, что он способен защитить то, что принадлежит ему, но вот приходит кто-то, способный это у него отнять, и самоощущению мужчины наносится урон. Он уже как бы и не мужчина. Лично в моих глазах отец не опустился, только у мамы все не сходит с языка, что у него одно время был шанс купить дом в Норбруке, но он его не использовал, отклонил, потому что уже имел вполне приличный дом с выплаченной ипотекой. Трусом я отца не считаю. И скупердяем тоже. Только иногда, если вдуматься, всплывает и становится видно верхоглядство несколько иного рода. Хотя и это не то слово. Просто он из поколения, что никак не ожидало оказаться на полпути по лестнице к преуспеянию, и когда попал туда, то был слишком ошеломлен, чтобы дерзнуть карабкаться по ней дальше. В этом и проблема с половиной пути. Верх – это когда у тебя есть всё, а низ – это когда все белые вольны устраивать на твоей улице воскресные гулянки, чтобы полнее ощущать свою состоятельность. Ну а серединка – это ни то ни сё. Ни себе ни людям.

В старших классах я упрасивала его остановиться на автобусной остановке или молила светофор держать красный свет, чтобы я успевала выскочить из машины до того, как отец подвезет меня к школе. Моя сестра Кимми (которая еще лишь созревает провести своих родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали) никогда в это не врубалась и всегда ворчала, когда отец ей говорил: «Ну, и ты выходи». Папа никак не был четырнадцатилеткой из средней школы «Непорочное зачатие» для девочек, у которых смысл жизни – повыпендриваться, что у них столько же денег и прав порхать походкой стюардессы с поднятой головкой и откинутыми плечиками, как у тех их сверстниц, которых подвозят к школе на «Вольво». Нельзя же, в самом деле, подъезжать на «фордике» туда, где у ворот залегают в засаде эти сучки, отслеживая, кто и на чем подъехал. *«Ой, вы видели, отец Лизы подвез ее на каком-то драндулете? Хю-хю-хю. Мой бойфренд говорит, что это “Эскорт”. У папы на таком горничная ездит. Хю-хю-хю»*. Кровь у меня вскипает не от того, что у отца не было денег, а от того, что ему в голову не приходило тратить их достойным образом. Потому, наверное, Бог в каком-то смысле на него грабителей и наслал. Наслал, но и не дал им взять много. Он только о том и шипит, что паршивым выблядкам достались всего три сотни баксов.

Но тешить себя обманом, что все безопасно, больше нельзя, потому что безопасности нет нигде. Мама рассказывает, что какое-то время эти типы держали отца за обе руки, чтобы каждый из них мог футбольнуть его в пах. И что он уже махнул рукой на докторов, хотя струя у него неделю от недели все слабее... Бог ты мой, я уже кудахчу, как мать. Но факт в том, что если они пришли раз, то могут прийти и снова. И кто знает, может, они сделают что-нибудь скверное и с Кимми – за то, что та думает навестить своих несчастных родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали.

Последними «измами» этого премьер-министра-социалиста можно назвать «пофигизм» и «уклонизм». Должно быть, на Ямайке я последняя из женщин, кто не слышала слов премьера о том, что для тех, кто хочет уехать, рейс на Майами летает пять раз в неделю. *«Лучшее еще настанет»*? Лучшее должно было настать еще четыре года назад. А вместо этого у нас сейчас одни «измы». «Изм» о том, «изм» об этом, да еще папик, ужас как любящий посудачить о политике. Это если на него не накатывают сетования, что у него нет сына, потому как для того, чтобы заботиться о будущем страны, нужны мужчины, а не бабы, для которых предел мечтаний – стать королевой красоты. Лично я политику терпеть не могу. Ненавижу уже потому, что, живя здесь, я вынуждена жить политикой. И ничего тут не поделаешь. Если ты не живешь политикой, политика будет жить тобой.

Дэнни был из Бруклина. Блондин, приехавший сюда писать диссер по животноводству. Кто знал, что Ямайка, на зависть всем наукам, создаст таких коров? В общем, мы стали с ним встречаться. Гулять он брал меня в отель «Мейфэр», на окраине. Приезжаем и, как по

мановению волшебной палочки, – *бах!* Всюду белые – мужчины, женщины, старые, молодые... Раздолье, изобилие! Я, по их понятиям, смуглянка-негрityанка, но даже с моим не очень темным цветом кожи видеть такое количество белых было шоком. Должно быть, кто-то спутал это место с Северным Побережьем, уж слишком много там было туристов. И вот кто-то открывал рот, и все давай квакать этим своим американским акцентом. Я там бывала так часто, что даже память поистерлась, но всегда, помнится, челюсть отвешивалась, когда белые начинали меня прикалывать: *«Постой! Хо-хо-хо! Эй, копна, повернись на меня! Эта прича у тебя настоящая? Ба-а-а, давненько мы не видали такого прикидона! Вот это начес так начес! Слушай, а внизу у тебя такой же?»* И все такие белые, как сахарные головы, без намека на загар!

Дэнни слушал реально сумбур, иногда просто дичь, да специально погромче, чтобы меня позлить. Всякий там авангард, рок-н-ролл, «иглы» с «роллингами», и в изобилии всяких негров, которым надо бы запретить косить под белых. А вот ночью он играл мне *песню*. Года четыре назад мы с ним порвали, но всякий раз, когда я смотрю за окно, то мысленно, раз за разом, напеваю две строки: *«Я верю, ты знаешь, нет любви к тому, что покидаешь»*. Забавно: с *ним* я познакомилась как раз из-за Дэнни. На какой-то вечеринке, которую устроил рекорд-лейбл, – где-то на выезде, среди холмов. «Вот место, где белые и небелые живут душа в душу», – сказала, помнится, я. Дэнни сказал, мол, у него и мысли не было, что черные тоже могут быть расистами. Я отлучилась за пуншем – не торопясь, чтобы убить время, – а когда вернулась, Дэнни разговаривал с боссом лейбла. Я тогда была в точности такой, какой меня считали все эти трудяги, – заносчивой негрityоской, что факается с американцем. А рядом с Дэнни и боссом стоял он – тот, кого я и не думала, что повстречаю. Последний его сингл заценила даже моя мама, и только отец на него морщил нос. Он был ниже ростом, чем я ожидала, и мы трое – он, я и менеджер – были здесь единственными темнокожими, не охаживающими публику с вопросами типа «вам подсвежить?». И вот он стоит здесь эдаким черным львом. «О, что за прекрасная секси-бестия? Воистину, на живца и зверь бежит», – не сказал, а прямо-таки изрек. И все пятнадцать лет моей выучки хорошей речи сразу под откос. Такой медоточивости на меня не изливалось из уст ни одного мужчины.

Потом я его долго не видела – Дэнни уж сто лет как уехал, – и тут Кимми (которая все никак не соизволит провести родителей после того, как их ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали) неожиданно пригласили на вечеринку в его дом, а я отправилась с нею. Так вот, он меня не забыл. «Постой-постой, так ты сестра Кимми? Ах вон где ты пряталась!.. Или ты была Спящей Красавицей в ожидании, когда тебя разбудит мужчина?» А я буквально разрывалась между той своей частью, которую обрубая после утреннего кофе («Да, да, причина именно эта, мой секси-брат», а другая при этом: «Ты что вообще творишь с этим расстой, у которого к тому же и инфекции могут быть?»). Кимми через какое-то время ушла, не помню как. А я осталась, даже когда все уже разошлись. Мы смотрели на него – я и луна, – когда он вышел на веранду обнаженный, словно дух ночи, с ножичком для очистки яблока. Локоны курчавятся, как грива у льва, и мышцы такие, и светятся под луной... Только двое на всем свете знают, что «Полуночные рейверы» – это про меня.

Политику я ненавижу. Ненавижу то, что мне положено знать. Папа брюзжит, что никому не выжить его из родной страны, но при этом знает, что бандиты всё набирают силу. Как бы мне хотелось быть богатой, работать, не пробиваться на пособия, и я надеюсь, что он хотя бы помнит ту ночь на своем балконе, с яблоком в руке. У нас есть родня в Майами – том самом месте, куда нам сказал убраться Майкл Мэнли³¹, если мы того захотим. Место для постоя там найдется, но папа не хочет тратить деньги. Черт возьми, Певец теперь так поднялся, что его никто не может больше и видеть; даже женщина, знающая его лучше, чем

³¹ Майкл Мэнли – лидер Народной национальной партии Ямайки (1969).

многие другие. А вообще, что я такое несу? Это блажь, которую втемяшивают себе все бабы. Что ты знаешь мужчину или что открыла какой-то секрет только из-за того, что дала ему залезть себе в трусы... Как бы не так, лапуся. Скорее наоборот. Он тебе вслед и не поглядел.

Я стою через дорогу, жду на остановке автобуса, пропустила уже два. А за ними и третий. Он так и не вышел через переднюю дверь. Ни разу. Не сделал так, чтобы я птицей кинулась к нему через дорогу с криком: «Ты же меня помнишь? Сколько лет, сколько зим! Мне нужна твоя помощь!»

Бам-Бам

Стволы в гетто завозят двое.

Один показывает мне, как ими пользоваться.

Но сначала они завозят другие вещи. Отварную солонину и кленовый сироп «Тетушка Джемайма», с которыми даже никто не знает, что делать, и сахар-рафинад. А еще «Кул-эйд», «Пепси», пузатые мешки муки и другие вещи, которые в гетто никому не по карману, а если и по карману, то где их взять. Первый раз, когда я слышу от Папы Ло о том, что близятся выборы, он рычит это тихо и мрачно, как гром, будто скоро пойдет ливень, и тебе ничего нельзя с этим поделать. Его навещают какие-то незнакомые, все непохожие на него (кто-то из них еще краснее, чем Шутник), почти белые. Они приезжают на блестящем авто, а потом уезжают, и никто не спрашивает, но все знают.

И в это же время приезжаешь обратно ты. Ты теперь больше, чем Десмонд Деккер, больше, чем «Скаталайтс», больше чем Милли Смолл, больше даже, чем белые люди. А Папу Ло ты знаешь еще с той поры, как у вас обоих еще не было на груди волос, и едешь к нему через гетто аки тать в ночи, но я тебя вижу. Возле моего дома, куда меня определил Папа Ло. Вижу, как ты подъезжаешь, только ты и Джорджи. А Папа Ло визжит чуть ли не как девушка и выбегает тебя обнять, и обнимает со всех щедрот, а ты всегда был мелковат, и тебе приходится кричать, чтобы он поставил тебя на место, и хватит уже обниматься и тискаться, а то ты начнешь путать его с Миком Джаггером. Ты превращаешься в человека, который судачит об уйме людей, которых никто не знает, и ты рассказываешь, как кокаинщик, именуемый себя Слай Стоуном, а на самом-то деле девичье имя у него типа Сильвестр³², дает тебе место на разогреве, все равно что кидает собаке кость, и ты выскакиваешь на сцену и всех размазываешь, но кто-то из темных говорит: «Что это за дерьмовые хиппанские медляки?» И ты им вообще никак не нравишься, а потому говоришь: «А ну их всех на хер, лучше я буду выступать сам по себе», а Слай Стоун просто уходит и нюхает дальше свой кокс, кидая тебя в Лас-Вегасе. Его мы тоже не знаем, но ты человек, который теперь рассказывает о людях, которых не знаем мы. Ты рассказываешь, что фаны коксовика тебя по-настоящему не оценили и ты их после всего четырех шоу взял и бросил.

Но это была лишь вода под мостом. Ты бредешь по Вавилону, и остаток истории Папа Ло может досказать, потому как ее знают все. Поэтому Папа Ло досказывает, а ты просто киваешь. А затем говоришь, что у тебя есть большой разговор, но он вынужден подождать, потому как все слышали, что ты в Копенгагене, и все сейчас пойдут благодарить и нахваливать страдальца, ставшего большой звездой, но который не забывает других страждущих, которые все еще страдают, а кто-то благодарит тебя за деньги, потому как сейчас ты кормишь три тыщи человек, о чем все знают, но никто не говорит, а машина у тебя смотрится побитой, а не такой, как мы ожидаем, и я от этого сержусь, потому как нет ничего хуже, чем когда у человека есть деньги, а он прикидывается, что у него их нет, все равно что выставять себя с понтом бедняком. И какая-то женщина обнимает тебя и говорит, что у нее есть тушенка, а ты говоришь: «Мамуля, ты же знаешь, я к свинине не притрагиваюсь», а она тебе: «Да я ж про горошницу! Ты такой и не пробовал!» И тогда ты говоришь: «Беги, мамуля, и принеси мне добрую чашку, самую большую на кухне, и тащи ее в дом Папы Ло, потому как нам с ним нынче говорить не переговорить». И вы с Папой Ло уходите без всякого даже присмотра, даже Джоси Уэйлс остается снаружи. А я смотрю, как Джоси Уэйлс смотрит, как вы уходите, а он остается, и смотрит, и шипит.

³² Слай Стоун (*наст.* Сильвестр Стюарт, р. 1943) – американский музыкант и продюсер, стоявший у истоков психоделического фанка; лидер группы «Слай энд зе Фэмили Стоун».

Те двое, что завозят стволы в гетто, смотрят, как ты отпеваешься у них от рук, и им это ох как не нравится. Здесь, на окраинах, никто не поет тебе славу и хвалу. И уж точно не тот, что завозит стволы в Восемь Проулков, где по-прежнему заправляет Шотта Шериф. Этот человек знает, что его партия выходит на выборы и ей нужно победить, остаться у власти, довести власть до народа, всех своих товарищей и социалистов. И Сириец, который завозит стволы в Копенгаген и жаждет выиграть выборы, да так, что самого Бога на его престоле готов подвинуть, тоже ее не поет. И Америкос, что приезжает со стволами, знает: тот, кто победит в Кингстоне, выиграет Ямайку, а тот, кто победит в Западном Кингстоне, выиграет Кингстон. Знает еще до того, как кто-то в гетто ему это сказал.

Премьер-министр Майкл Мэнли всем говорит по телевизору и по радио, что обеспечил тебе первый большой прорыв, и если б не он, ты не стал бы знаменитым. И что он всегда поддерживал голос угнетенных, товарищей в борьбе. А потом ты поешь: «Никогда не давай политикану оказать тебе услугу, ибо он будет ездить на тебе всегда», но он считает, что это спето не о нем, потому как он теперь не политик, он теперь Иисус.

И тот, что завозит стволы в Копенгаген, чтобы там порешали вопрос с Восемью Пролками, слышит, что ты все время ведешь беседы с Папой Ло, как будто б вы с ним снова в школе и замышляете шалость, и тогда царапает голову Сирийцу и спрашивает Папу Ло, о чем он с тобой разговаривает, ведь известно, что ты человек ННП, потому как те обеспечили тебе первый крупный прорыв, и может, этот маленький раста пытается отрихтовать Папу Ло под ННП. Ты не знаешь, что начиная с этой поры люди смотрят за тобой соколиным взором, потому как ты все время общаешься с Папой Ло, а нынче Папа Ло даже поехал к тебе в дом на окраине и провел там целый день.

На те выходные, что Папа куда-то запропал и никто не знал, где он, пронеслась молва, что он на самом деле отправился в Англию посмотреть на твой концерт. Прошло и слово, что ты все еще не потерял связь с Шотта Шерифом, человеком, чей подручный убил мою семью, и я научился ненавидеть тебя по-новому, так же как любить Папу Ло. Ты его охаживаешь, ты подбиваешь его на что-то, и все это видят. Особенно Джоси Уэйлс. Джоси Уэйлс смотрит за тобой, а я смотрю, как он смотрит за тобой, и ему не нравится, к чему оно все идет, а вслух он этого не говорит, но дает знать тем, кто слышит. А мелкие пташки щебечут, что Папа Ло слабеет, что уже не тот.

Но вот как-то пацан из Копенгагена грабит под стволом женщину, свою же, копенгагенскую, что торгует пудинги и того на перекрестке Принсес и Харбор-стрит. А она приходит к дому Папы Ло и указывает, кто это: шкет в трех дверях от моего дома, которого тут все недолюбливают. А мать его в крик: «Ай, ой! Господи помилуй! Сжался над мальчиком, Папа! Это потому, что у него нет папаши, чтобы научал его уму-разуму!» И по всему видать: врет немилосердно, манда старая. Джоси Уэйлс все шипел, что Папа Ло эти дни слишком уж много думает, а тот, гляди-ка, срывает с этого зассанца одежду и рывкает: «Мачете мне!» – и лупцует им пацана со свистом тупой стороной; каждый удар, как удар грома, надсекает кожу. Парень орет, визжит, но Папа Ло мощен, как дерево, и быстр, как ветер. «Ай, Папа Ло, ой, Папа Ло!», а тот только свирепеет. Пинает его наземь и лупит и рукой, и ногой, а когда устает от мачете, срывает с себя ремень и пряжкой его, пряжкой, – и по спине, и по груди, и по рукам-ногам. Мать к чаду своему бросается, так он и ей разá звезданул по лицу, она только прикрылась и отбежала. Люди сошлись, смотрят. Папа Ло вынает ствол, хочет пулю пустить, и тут мамаша снова подлетает, прикрывает его и вопит-умоляет Папу Ло, женщину, что потерпела, и всё к Иисусу-Богу взывает, в холмах Сиона почившему. Ну, супротив Иисуса даже Папа Ло не посмел. Сказал только: «Женщина, что такого пизденыша выродила, сама заслуживает пули». Ствол ей ко лбу поднес, но стрелять не стал, просто ткнул и ушел.

В шестидесятых у нас правила Лейбористская партия Ямайки, но тут подняла голову Народная национальная и сказала стране: «Лучшее настанет, и настанет оно с нашей победой

на выборах семьдесят второго года». А теперь лейбористы хотят прибрать страну обратно к рукам, и нигде не встретишь ни единого «нет» или «не можем» – только «можем» и «да». Центр города на замке, полиция уже кричит о комендантском часе. Кое-где на улицах так тихо, что даже крысы задумываются, вылезать им или нет. Западный Кингстон в огне. Народ хочет знать, как так получается: лейбористы теряют Кингстон, а Копенгаген все равно под ними. Люди рассуждают, что это все из-за Ремы – места между ЛПЯ и ННП, что голосует против ЛПЯ, потому как ННП обещает солонину, муку и больше учебников для школ. Человек, что завозит стволы в гетто, привозит их еще больше и говорит, что не успокоится, пока каждый мужчина, женщина и молокосос в Реме не окровавится. Но обе партии оглушенно замирают, когда встает третья партия – *ты* – и на экране откуда-то из чайной лавки говоришь, что жизнь твоя принадлежит не тебе, и если ты не можешь помочь народным массам, то она тебе не нужна. И что ты делаешь для гетто кое-что еще, хотя тебя там и нет. Чего именно ты для него делаешь, я, хоть убей, не знаю. Басы, может быть – то, чего никто не видит, но чувствует, а тот, кто чувствует, знает. Но какая-нибудь баба, что говорит сама с собой, вдруг распустит у себя на дворике язык и, проклиная каждую штанину трусов, которые стирает, заверещит, что устала от этой дерьмократии, от всех этих «измов» и «азмов», и давно уже пора, чтобы большое дерево встретилось с маленьким топориком. Но пока она этого не говорит, а поет, мы знаем, что за всем этим ты. Тьма народа и в гетто, и в Копенгагене, и в Реме, и, конечно же, в Восьми Проулках поет одно и то же. И двое, что завозят стволы в гетто, не знают, как быть, потому что, когда удар наносит музыка, ты не можешь ударить встречно.

Парень, вроде меня, твоих песен не поет. «Тот, кто чувствует, знает», – поешь ты, только чувство это было у тебя давно. Мы слушаем другую песню, которую крутят по «Сталаг ритм» – песню от людей, которым не по карману гитара и нет белого человека, который бы им ее дал. И в то время, как мы слушаем песню людей таких, как мы, ко мне навевается Джоси Уэйлс, и я шучу, что он Никодемус, тать в ночи.

На тринадцатилетие он дарит мне подарок, который чуть не вываливается у меня из пальцев, потому как вес пистолета – это вес особый. Не тяжелый, но особенный – холодный, гладкий, плотный. Он не слушается твоих пальцев, если только твоя рука вначале не докажет, что может им владеть. Я помню, как ствол выскальзывает из руки, бухается об пол, а Джоси Уэйлс подскакивает. Вообще он не прыгает. «Последний раз такое было, когда я начисто отстрелил себе четыре пальца», – говорит он и подбирает его. Я хочу спросить, оттого ли он хромает. Джоси Уэйлс напоминает мне, что это он обучает меня, как использовать ствол, чтобы палить из него в выродков из ННП, если те что-нибудь выкинут, и скоро наступит мой черед защищать Копенгаген, особенно если враг придет из соседних кухонь, а не из далекой пустыни. Джоси Уэйлс никогда не изъясняется музыкально, как Папа Ло или ты, поэтому я смеюсь и получаю от него затрещину. «Не проявляй неуважение к дону», – говорит он. Мне хочется сказать, что он не дон, но я молчу. «Ты готов быть мужчиной?» – спрашивает он. Я говорю, что и так мужчина, но не успеваю закончить, как он утыкает мне в висок ствол: тык. Помню, я напрягаюсь, изо всех себя заклинаю: «Не ссы, ну пожалуйста. Не смотришь трехлеткой, которому неймется надуть в штаны».

Папа Ло грохнул бы меня быстро и четко, все равно что шелкнуть пальцами. Но если б он захотел убить тебя в пятницу, он бы раздумывал над этим, взвешивал, отмерял, планировал с понедельника. Джоси Уэйлс не такой. Он не думает, а просто стреляет. Я смотрю на черное дуло и знаю: он может грохнуть меня прямо сейчас, а затем сказать что-нибудь Папе Ло. А может и не говорить. Никто не в силах угадать, что Джоси Уэйлс выкинет в следующую минуту. И вот он держит мне ствол у виска, а сам хватается за пояс штанов и тянет, пока не отлетает пуговица. У меня только трое трусов, больше взять неоткуда, и я надеваю их только тогда, когда надо выйти из гетто. Джоси Уэйлс ухватывает меня за трусы и сдер-

гивает. Смотрит снизу вверх, сверху вниз и тогда улыбается. «Пока, – говорит, – не мужчина. Но уже скоро, скоро. Я тебя им сделаю, – говорит. – Ты готов быть мужчиной?» – спрашивает. Я подумал, он мне за политику, вроде того как Майкл Мэнли спрашивает: «Ты хочешь лучшего будущего, товарищ?» Я и кивнул, а он тогда вышел наружу, ну и я за ним пошел по улице, по которой нынче никто не ездит: шибко уж тут часто стреляют. Домов вокруг нет, только куча песка и блоки. Должна была встать казенная многоквартирка, но теперь, видно, не дожидаться: правительство строить не будет, потому как мы за Лейбористскую партию.

Поддерживая штаны, я иду за ним вдоль улицы туда, где она вроде как заканчивается – рельсы, пересекающие Кингстон с запада на восток. Здесь, на юге, с этой железной дороги беспрепятственно видно море. И если стоять у моря и глядеть, как Кингстон уходит за горизонт, можно даже позабыть, что ты живешь на острове. Что в гетто есть ребята, которые каждый день бегают к морю и ныряют в него, чтобы что-то забыть. О них я думаю, только когда смотрю на море. Солнце сейчас садилось, но от него все еще было жарко, и воздух припахивал рыбой. Джоси Уэйлс сворачивает налево, к маленькой хибарке, где когда-то давно спозаранку вставал человек, чтобы перекрыть для прохода поезда дорогу. Идти следом Джоси Уэйлс мне и не говорил. Когда я наконец захожу внутрь, он смотрит на меня так, будто ждал этого весь день.

Внутри уже темно, и половицы жалобно скрипят. Он зажигает спичку, и я вначале вижу кожу, потную и блестящую. Забавно: после запаха пота вскоре начинается улавливаться запах ссак. Так оно и есть: ссаки будто впитались в пол, но еще не застарелые. Обоссался наверняка тот голый пацан в углу, что лежит на животе. Джоси Уэйлс или кто-то другой привязал ему руку к ноге, так что смотрится это как согнутый лук из человека. Жоси Уэйлс указывает на охапку его одежды, что рядом на полу, а затем стволом на меня: «Подбери. Она, возможно, твоего размера. Теперь, – говорит, – у тебя и трусов будет четверо». Я не помню, чтобы говорил кому-то, сколько у меня трусов. Нагибаюсь подобрать, и тут Джоси Уэйлс жахает из ствола. Пуля буцкает в пол, и мы с пацаном подскакиваем. «А ну стой, шибзденыш, – шипит Джоси мне. – Ты еще не доказал, что ты мужчина». Я смотрю на него – высокий, лысый, его женщина бреет каждую неделю. Коричневый, весь из мышц, в то время как Папа Ло черный и плотный. Когда Джоси Уэйлс лыбится, он похож на азиата, но сказать ему об этом нельзя: пристрелит. Потому что у азиатов хренки не больше чем прыщики, совсем не то что у черных ямайских львов.

«Видишь, какие в Реме пацаны зажиточные? Вот ты можешь себе позволить джинсы? “Фиоруччи”, между прочим, не хухры-мухры. Теперь видишь, какое применение пижончик из Ремы может найти своим тридцати сребреникам?» Джоси Уэйлс знает считай что все одежные чекухи: ему женщина таскает их с фабрики, где работает, а фабрика отправляет одежду в Америку, чтобы народ мог щеголять в ней на дискотеках, – чем еще там людям заниматься. Все это знают, потому как она всем рассказывает. А у тебя, если хочешь на такое добро скопить, вначале от времени яйца поседеют.

«Ну давай», – говорит Джоси и сует ствол мне в руку. Я слышу, как пацан плачет. Он из Ремы, а я оттуда никого не знаю. Да и из Восьми Проулков, наверное, никого бы не узнал, если б сейчас увидел. «Прямо сейчас давай», – повторяет Джоси Уэйлс. Вес ствола – особенный вес. А может, не столько он, сколько ощущение, что как берешь ствол, то не ты его реально держишь, а он тебя. «Или сейчас, или я тут вами обоими займусь», – говорит Джоси. Я подхожу прямо к пацану, слышу, как он пахнет потом, ссаками и еще чем-то, и жму на спуск. Пацан не орет, не вопит и не ахает, как в кино с Гарри Каллаханом, где тот погибает мальчика. Просто дергается и замирает. Ствол у меня в руке тоже дергается, жестко так, но и выстрел не бабахает, как у Гарри Каллахана. Там одно только эхо расходится до конца фильма, а здесь «кххх» – все равно что две доски по ушам въехали, – и уже нет ничего.

Когда пуля входит в тело, слышно только «чпок». Этого, из Ремы, я шлепнул прямо-таки с охотой. Вот прямо-таки хотелось, от души. Не знаю почему. Хотел, и всё. Джоси Уэйлс ничего на это не сказал. «Теперь, – говорит, – добей, чтоб наверняка». Я бабахнул, пацан снова дернулся. «Да в голову, дурень», – говорит Джоси, и я снова шмаляю. Крови я из-за темноты не вижу, льется она на пол или нет. Только пистолет стал легче и теплей. Я подумал, что он как будто начинает меня любить, приживаться. А убить пацана мне было как два пальца об асфальт. Я об этом уже заранее знал – может, у ребят из гетто чутье такое. А что заблевал, так это не из-за смерти, а из-за ссак с говном и кровью, когда отволакивал труп, чтоб скинуть в море. Через три дня вышла газета с заголовком: «*Тело мальчика в Кингстонской бухте: убийцы не щадят никого*». Джоси Уэйлс тогда осклабился и говорит: «Вот теперь ты большой человек, такой, что аж в газеты попал. На всю Ямайку нагнал страху». Ну, а я себя большим не чувствую. Не чувствую вообще ничего. Если и есть что большое, так именно это. Хотя, в общем, и нет. «Только Папе Ло не проболтайся, – наказывает мне Джоси. – А то как бы он и меня не порешил».

Джоси Уэйлс

Ревун, как всегда, не торопится. Он с белыми людьми ладит; всё у него реально пучком после того, как один из них научил его стрелять как мужчину, а не как глупого мальчугана из гетто. Так его поначалу звал Луис Джонсон, именно так. У белых людей муди растут откуда надо, я бы так сказал. Как-то раз Ревун вскочил, выхватил перед белым человеком ствол – пукалку тридцать восьмого калибра, – и тут ему в яйца упирается пушка куда серьезней. «Я все равно могу тебя убить», – хорохорится Ревун. «Ты своим пестиком целишь мне в мозг, а я свой пест упираю в твой, – отвечает Джонсон. – Мне кажется, для ямайца это пострашней убийства, разве не так, бро?» Ревун луп-луп глазами и ну смеяться, трясти ему руку, даже за плечо его обнял и назвал своим брателлой. А как не назвать, когда человек намастрячился разговаривать, как ярди?³³ Я помню, он носил джины «Рэнглер». Америкос, который на выезде из Америки старался смотреться еще больше по-американски. Это все было в баре «Розовая леди» на Печон-стрит, между центром Кингстона и его гетто, куда каждый четверг поставляются свежие девки, хотя на прошлой неделе свежей была одна двухлетней давности, которая все еще в танце трясется, как банановая пальма. Времена непростые и, видимо, хужеют с каждым днем, коли на сцене стрипует воспиталка из яслей. Ревун любит факать и ее.

Открывается «Розовая леди» в девять утра, а на джукбоксе там в основном две вещи: приятный такой ска из шестидесятых и сладенький рокстеди типа «Хептонов» и Кена Лазаруса. Никакого вонючего регги наших раста. Если еще раз встречу того шибздика, что не причесывает лохмы и признает своим богом-спасителем Христа, то, наверное, пошлю его на все шесть направлений. Можете эту шутку зачислить на мой счет. Стены здесь для красного слишком розоватые, а для розового – слишком лиловатые. Еще для колера хозяин самолично сделал напыление из позолоты. Лерлетт, худосочная деваха на сцене, всегда любит выламываться под «Бони М». Был как-то год, что мы выставляли им секьюрити на тур по Ямайке; никто даже представить не мог, какой пидорный вид у этих троих чувих и одного чувака с Карибов. И вот каждый раз, когда песня подходит к последнему припеву – «*she knew how to die*»³⁴, – Лерлетт всегда падает на одно колено, выставляет перед собой руки, как Джимми Клифф с наганом в «Тернистом пути»³⁵ и как бы стреляет. В этот свой «*na-na-na-nam*» она вкладывается всем телом, выражает всю свою досаду на житуху. Ревун Лерлетку местами тоже пофакивал.

Когда танец кончается, она натягивает обратно свои трусики-чулочки и приходит ко мне в отгородку. У меня с бабами правило: если у тебя сисоны торчковой, а тело жарче, чем у моей женщины, мы с тобой договариваемся и я тебя беру. А иначе катись к хренам. Десять лет, а я с этой женщиной все еще встречаюсь. Все свои собачьи годы я искал такую, как Уинифред, – женщину, что выносила от меня мальчика, которого я хотел бы считать своим сыном. Скажу одно: мужчина не может позволять себе разбрасываться семенем направо-налево. На прошлой неделе Ревун заявился с сыном от какой-то женщины из Джунглей, хотя он даже толком не помнит ее по имени. Парнишка то ли тормоз, то ли начал курить траву намного раньше срока: всю дорогу пускал слюни и дышал, как сенбернар на припеке. На Ямайке ты должен быть уверен, что растишь свое чадо правильно. Легкая шоколадная глазурь без лишней подсушки, чтобы твое дитя вовремя получало хорошее питание и имело хорошие волосы.

³³ Ярди – уличные банды на Ямайке, особенно из района Тренчтаун.

³⁴ «Ма Бейкер» (англ. Ma Baker) – один из ранних хитов «Бони М» с рефреном: «Она знала, как умирать».

³⁵ Джимми Клифф – ямайский певец и композитор; сыграл главную роль в фильме «Тернистый путь».

- Ну чё, пупсик, сообразим вечером на двоих?
- Грязная девка, а ну шурши отсюда лягами! Или ты не видишь, кто перед тобой?
- Ой-ти. Вижу, да не того. А Ревун где?
- Я ему что, караульщик?

Она не отвечает, а сердито так уходит, оправляя на заднице трусики. По ней прямо со спины видно, что мать ее во младенчестве роняла башкой об пол. Даже, наверное, дважды. В людях я терпеть не могу двух вещей: во-первых, когда они несут похабщину. Но еще хуже, это когда они пытаются заткнуть тебя за пояс своей ученостью, козыряют ею. Мать меня дотянула до окончания школы, спасибо ей. Но на учение я забивал, а знаний набирался через глаза и уши. Я вот и сейчас смотрю телепередачи, Билла Мэнсона и «Я мечтаю о Дженни», каждое утро с десяти слушаю по радио сериалы – они хоть и для женщин, слезливые, а мне все равно нравится. Слушаю и политиканов – но не тогда, когда они обращаются ко мне так, будто я какой-нибудь позорный ниггер из гетто, а когда они говорят меж собой или с белыми людьми из Америки.

На той неделе сынишка мне сказал: «Папа, зняесь такие слова?» И давай ими крыть – где только, соплезвон, успел понахвататься... «Говно» из них самое безвинное. Я его, засранца, шлепнул так, что он чуть не разревелся. «А ну не смей, – говорю, – разговаривать со мной, будто ты родился под хвостом у коровы».

А взять этого, *нашего*. Смотрит на тебя с таким видом, будто ты ему что-то должен. В том и проблема с этими щегольками. Где они были, когда в шестьдесят шестом гремела война в Балаклаве?³⁶ Я уж об этом и говорить перестал: больно. Все базарят так, будто они из гетто, особенно *этой*.

Увидел его как-то по телику – мне в жизни еще не было так стыдно. Ты, сучьё, со всем твоим баблом, золотыми дисками, следами от помады всевозможных белых женщин на члене, – и ты разговариваешь *так*? Сидишь, гундосишь, как ярди: «*Если моя жизнь только для меня, она мне не нужна*». Правда, что ли? Ну так, сучара, готовься с ней расстаться: я лично к тебе нагряну.

А вот Ревун, он другой. В первый день как вышел из тюрьмы – не самый, скажу вам, удачный, так как вышел он как раз посередь войны, – у него задний карман выпирал бугром. Полез он туда – оказалась книга, а в ней столько красного, даже на обложке, что я сперва решил, типа у него из задницы кровь идет. Оказалось, красные чернила от единственной ручки, которую он прикурковал в тюрьге. Я спросил: «Ты чё, еще одну книгу в книге написал?» А он: «Да куда мне. Я не звезда. А среди моих братьев, – говорит, – выше всех Бертран Рассел³⁷; лучше, чем он, никому не написать». Книгу того Бертрана Рассела я до сих пор еще не прочел. Ревун говорит, именно благодаря Бертрану Расселу он теперь не верит в Бога, и у меня с этим тоже есть проблемки.

Сижу жду Ревуна. На джукбоксе крутится песня, тоже хитовая. На прошлой неделе я ему и молодым – Бам-Баму, Демусу и Хеклю – сказал, что ямаец – это человек в поисках отца, а если тот в комплект не входит, то он все равно будет искать его в ком-нибудь, пока не найдет. Так и Папа Ло. Потому он «папой» и именуется. Только он больше не может быть отцом никому и ничему. Ревун говорит, что он смягчает, а я ему говорю: «Вовсе нет, долбак ты гребаный». Ты взглядишь, разуй глаза. Человек не смягчает, он просто достиг возраста, где стоит сам перед собой в зеркале, уже старик, и оба друг другу больше не нравятся, хотя ему всего-то тридцать девять. Но у нас это уже стариковский возраст, и проблема дожившего до него в том, что он не знает, что с собой делать. И начинает вести себя так, будто он уже не из

³⁶ Балаклава – город на Ямайке, округ Сент-Элизабет.

³⁷ Бертран Рассел – британский философ, общественный деятель и математик. Известен своими работами в защиту пацифизма, атеизма и левых политических течений.

того мира, который своими руками помогал создавать. Нельзя вот так разыгрывать из себя Бога и говорить: «Что-то человек мне разонравился, давай-ка я смою его начисто потопом и начну заново». Папа Ло начинает рыть слишком глубоко и думать, что ему следует быть больше того, чем он уже есть. И он самый безнадежный глупец; глупец, который начинает верить, что всё может быть лучше. Лучшее, оно настанет, но не так, как он думает, а по-иному. Колумбийцы вон начинают мне поговаривать, что устали от этих чокнутых кубинцев, которые вынюхивают большую лишку из того, что должны лишь продавать, а от багамцев нынче нет проку, так как они наострились химичить кокс сами. Первый раз, когда они спросили, хочу ли я опробовать их зелье, я сказал «нет, *hermano*»³⁸, но Ревун сказал «да». «*Братья, – говорит, – кокс единственная штука, за которую я давал в тюрьме*». Прямо вот так и сказал, начистоту. Зная, что никто в гетто не посмеет к нему подойти и назвать его за это «жопником». Тот человек все еще шлет ему из тюрьмы письма.

Люди – даже те, которым виднее, – начинают подумывать, что Папа Ло смягчает, что ему больше неинтересно выбивать деньги на партию. Что он думает отойти и дать человеку от ННП зайти на *территорию*, а Джунгли и Рема, всегда охочие до того, что плохо лежит, скоро отбелят свои зеленухи и перекрасят их в оранжевый цвет. Так вот Папа Ло не смягчает; он мыслит вглубь, за что политиканы ему не платят. Политиканы поднимаются на востоке и бьют клинья на западе, и ничего ты с ними не поделаешь, никак не изменишь. И вот здесь наши дороги расходятся. Он хочет их забыть; я хочу их использовать. Они думают, что ему до народа больше нет дела, но проблема в том, что дело ему как раз есть, и он уже втягивает в него Певца.

Первый раз они зазвали меня в прошлом году. На встречу возле Грин-Бэй. И я первым делом спросил: «А где Папа?» И тот из них, который черный (почти все были белые, коричневые или красные), сказал: «*Хватит с нас Папы. Время Папы прошло, сейчас нужна новая кровь*». Ну прямо как на камеру в «Скрытой камере». В какой-то момент эта гнида Луис Джонсон достает листок – бланк посольства вверх ногами, с приглашением на какой-то банкет, липа полная – и с видом, будто это какое-то секретное постановление, читает всем и улыбается, как будто подтверждает им какую-то хрень насчет меня. Папа, дескать, не заботится о нуждах и чаяниях этой грязной жизни. При этом все эти тормозные залупочесы не ловят, что я-то тоже об этом не забочусь. Словом, Медельин местного разлива.

И вот, стало быть, я даю этому жулику Луису подсласить меня своим плутовским планом. Выслушиваю, как они мне с улыбочками говорят, что они-де сомневаются, а можно ли мне довериться, и прикидываюсь, что не понимаю, когда они намекают: «Дай нам знак». Ну прямо как по Библии. Разыгрываю из себя дурака, пока они не выкладывают мне в открытую, чего хотят. Луис Джонсон из них единственный от посольства, с кем я вижусь. Он поддерживает связи с темнокожими. Сам высокий, каштановые волосы и темные очки, чтоб не было видно глаз. Я ему говорю, что он сейчас находится в Копенгагене, известном не иначе как ладонь моей руки, которую я, если захочу, в любую минуту могу сжать в кулак. Задирю рубашку и показываю ему историю шестьдесят шестого года. Грудь слева – пуля почти возле сердца. Шея справа – пуля насквозь. Правое плечо – рана в ткань. Левое бедро – пуля отскочила от кости. Ребра – пули почиркали и их. Насчет того, что я думаю послать своего человека в Майами и еще одного в Нью-Йорк, я умалчиваю. А еще, что «*yo tengo suficiente espacio para conocer que eres la mbs gran broma en Sudamirica*»³⁹. Болтаю, как придурковатый ниггер, и задаю тупые вопросы вроде: «А в Америке что, прямо у всех есть стволы? Ух ты! И какими пулями они стреляют? А почему б вам не отрядить вашего Грязного Гарри в филиал на Ямайке?» Хи-хи-хи да ха-ха-ха. А они сообщают мне новости, что Певец, дескать,

³⁸ Собрат, братец (*исп.*).

³⁹ «Моего испанского достаточно, чтобы знать: ты – самая большая шутка в Южной Америке» (*исп.*).

дает Папе Ло деньги и они оба что-то замышляют по-крупному, думая каким-то образом изничтожить всех людей вроде этих, что зазвали меня на встречу. Я делаю вид, что Папа Ло не успел в прошлый раз рассказать мне о том, как он в Джунглях шмальнул паренька и пожалел, когда узнал, что тот был из выпускного класса. И вот я говорю политикам и американцам: «Что ж. За-ради доказательства, что я дон из донов, берусь выполнить то, что необходимо сделать». Тут мне говорят: позвольте, мол, внести ясность, правительство Соединенных Штатов никоим образом не поддерживает и не потворствует какой-либо противозаконной или подрывной деятельности на суверенных территориях соседних стран. В общем, ведут себя так, будто я не знаю, что они уже затевают обман и ищут, с кем бы из моих подручных встретиться наедине, как Никодемус в ночи, и сказать ему разделаться со мной сразу, как я выполню намеченное ими. И вот я жду здесь Ревуна – обсудить то, о чем можем говорить только мы с ним, потому как завтра я думаю кое-чем заняться. С завтрашнего дня мне предстоит подзаняться миром.

Нина Берджесс

Семнадцать автобусов. Десять маршруток, включая одну с эмблемой «Ревлон Флекс», которая проехала дважды. Двадцать одно такси. Триста шестьдесят шесть автомобилей или около того. И хоть бы раз он вышел из своего дома. Ни разу – даже чтобы дыхнуть воздухом, посмотреть, исправно ли несут свою службу охранники. Или хотя бы сказать солнцу: «Позже, брат, не до тебя: ты же видишь, я серьезно занят». Ближе к вечеру снова подъехал тот тип на зеленом мотороллере и снова был услан, но только перед этим слез и поговорил с человеком на входе в течение двух минут семнадцати секунд (я засекала). Часы Дэнни все еще ходят, несмотря на то, что как-то раз, заскочив перекусить в «Терранову», я столкнулась со своей бывшей одноклассницей (сиськи обвислые, как у усталой козы, но сама все такая же надменная сука), и от нее мне открылось, что «Таймекс» – именно те часики, *«что мой папа на той неделе подарил Гортензии за пятнадцать лет безупречной работы по дому»*. То есть сука намекала, что я дешевка. Мне хотелось ей сказать: «Какое, должно быть, счастье быть замужем: можно совершенно не заботиться о своей внешности», – но вместо этого я с улыбкой произнесла: «Надеюсь, твой сынишка умеет плавать: я только что видела, как он мчится к бассейну».

Как жаль, что не изобрели еще телефонов, которые можно носить с собой, иначе я позвонила бы Кимми и спросила, съездила ли она уже навестить своих бедных отца и мать и как нам быть с отъездом к чертовой бабушке из этой страны, пока здесь не произошло что-нибудь еще похлеще. Знание Кимми подсказывало мне: к родителям она если наконец и явится, то не иначе как в какой-нибудь маечке типа *«Университет Ганджи»* и джинсах с кокетливым вырезом сзади; маму будет звать «сестрёна», а отца утешать тем, что виной всему наша вавилонская «shit-стема», а потому и злиться надо не на тех громил, а прежде всего на «шитстему», что их до этого довела. Такие вот разговорчики ведутся у них в тусовочном месте, именуемом «Двунадесять Племен» в разбитном, замусоренном квартале Дом Западных Королей, недалеко от резиденции представителя Королевы. В вопросах сарказма мне не мешало бы поднатореть. Возможно, я снобиха, но, по крайней мере, я не лицемерка, дрейфующая по кругу, поскольку мне больше нечем заняться после того, как моя заветная мечта щемиться с Че Геварой ткнула мне в морду кукиш. Не зависаю я и с богатеями в Доме Западных Королей, что нынче щеголяют нематыми патлами, а своим самомнением тревожат родителей, зная наперед, что через пару лет станут во главе их фирм и женятся на каких-нибудь суках из Сирии и Коста-Рики, только что урвавших звание «мисс Ямайки».

Машины: триста шестьдесят девять, триста семьдесят... семьдесят два, семьдесят три... Нет, правда: пора домой. Но я всё здесь, на улице, поджидаю его. У вас порой не бывает ощущения, что дом – это единственное место, куда вы не можете вернуться? Вот вы утром встаете с кровати, умываетесь-причесываетесь и радужно так обещаете себе: ну всё, когда сюда вернусь, я буду уже другой женщиной в новом месте. И теперь возврат вам туда заказан, так как дом ждет от вас чего-то из этого обета.

Останавливается автобус. Я машу – езжай, мол, дальше, я не сажусь. Но он все стоит, дожидается. Тогда я отступаю на шаг и гляжу вдоль дороги, делая вид, что не замечаю, как пассажиры в автобусе костерят меня: им же всем по домам надо, кормить отпрысков, а та шалава всё не садится. Я отхожу на расстояние, такое, чтобы автобус уже наконец отъехал, а возвращаюсь, как раз когда оседает облако пыли от колес.

Через дорогу до меня докатываются басовые звуки – похоже, у него весь день играет одна и та же песня. Звучит как еще одна композиция обо мне; только по Ямайке, наверное, сейчас разбросано десятка три женщин (а по миру их пара тысяч), которые думают то же самое, слыша эту песню по радио. Хотя «Полночный рейв» – это *точно* обо мне. Когда-

нибудь я расскажу об этом Кимми, и она поймет, безусловно поймет – то, что ты хорошенькая, еще не значит, что тебе будет доставаться все на свете. Неожиданно у ворот я замечаю белое с синей полосой полицейское авто – и когда успело подрулить? Ямайская полиция обычно гоняет, не выключая сирен, расшугивая с дороги машины для того лишь, чтобы быстрее проскочить к фастфуду за сэндвичами. Я с полицией не имела дел никогда. Впрочем, было одно исключение.

Как-то раз я ехала 83-м автобусом в Испанский квартал на собеседование; на дворе был 1976-й, так что работу приходилось хватать где лежит, и вот мне подвернулась компания «Боксит». И тут вдруг сразу три полицейских машины сигналият нам, командуют шоферу остановиться прямо здесь же, на шоссе. *«Э'ей, автобус 83, остановиться! Все на выход! А ну сейчас же!»* Прямо посреди шоссе. Небольшой такой отрезок дороги с болотцами по бокам, и всем приходится выходить цепочкой. Женщины давай поругиваться – в самом деле, кому на работу, кому по делам; а мужчины, те молча, так как стрелять полиция воздерживается только в женщин. *«Дежурная проверка, – объявляет один. – Предъявляем документики, то да сё, имя-фамилие».*

– А вы у нас кто, милое создание?

– Не поняла?

– Вы-вы, ох да ах на высоких каблуках. Как вас, 'оворите, звать?

– Берджесс. Нина Берджесс.

– А я Бонд. Джеймс Бонд. Вы, часом, в кино не снимаетесь? И нет ли на вас скрытого, знаете ли, под одеждой оружия? Позвольте вас обыскать.

– А мне позвольте крикнуть «насилуют»?

– Да кому, нах, до этого здесь дело есть?

И отсылает меня к остальным женщинам, а другой в это время пистолетом тычет в одного из мужчин, который что-то там заикнулся насчет законности и равноправия.

Есть один секрет насчет полиции, который ни один ямаец не произнесет вслух, – в смысле, тот из ямайцев, кому хоть раз выпадало иметь дело с этими козлами. Всякий раз, когда одного из них подстреливают, а бывает это частенько, некая часть меня – та, что до утреннего кофе, – втихомолку улыбается. Но сейчас это не важно. Меня занимает мысль, не сообщает ли полиции охранник у входа сейчас, как раз сию минуту, что я весь день смотрю с остановки за домом. Но вместо этого они обмениваются какими-то фразами, и толстяк полицейский (среди них всегда находится один такой) залихватски смеется, и этот смех доносится до меня через улицу. Он отходит, чтобы сесть в машину, но тут кто-то изнутри окликает его окриком. Я знаю, что это ты, это *должен* быть ты. С моей стороны близится машина – сколько до нее, девяносто футов? Думаю, успею перед ней проскочить – ведь это же ты, я знаю (сколько там остается, футов сорок?). Бегу, бегу! Не дави ты на клаксон, сукин сын, я не глухая! Я на средней полосе движения; чертовы машины словно сговорились и мчатся как угорелые с обеих сторон, а я тут посерединке жмусь, как Бен Ганн⁴⁰ на необитаемом острове, и хочу лишь одного: чтобы ты увидел меня и сразу вспомнил; «Полуночные рейверы» – это же обо мне, хотя дело было за полночь и ты можешь не знать, как я выгляжу днем, но мне нужна всего лишь услуга, немного помощи: у меня ограбили отца, а мать, возможно, изнасиловали. А хоть и не насиловали (я толком не знаю), но дело все равно срочное, ведь человек пожилой, у него сердце, а тут такое, и я знаю, что это ты, а полицейский ждет (очень, очень хорошо, что он вылезает обратно) – но окликнул его, оказывается, не ты. Наружу выбегает еще один охранник и что-то ему говорит, а толстяк-хохотун снова смеется и усаживается в машину. Я застряла посередине дороги, транспорт пронесется в обе стороны, ветром задирая мне юбку.

⁴⁰ Бен Ганн – персонаж романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ».

– Извините, здравствуйте, мне надо...

– Вход запрещен. Турне со следующей недели.

– Да нет, вы не понимаете. Я не насчет турне. Мне нужно видеть...

Он меня ждет.

– Мэм, вход только родным, близким и музыкантам группы. Вы ему что, жена?

– Я? Да нет, конечно. Что за вопрос...

– Вы играете на инструменте?

– Какая разница, на чем я играю. Вы передайте, что к нему Нина Берджесс, и это срочно.

– Да назовитесь хоть Скуби-Ду⁴¹. Посторонним вход запрещен.

– Да, но, э-э... я...

– Леди, будьте добры, отойдите от входа.

– Я беременна. От него. Речь о его ребенке, между прочим.

Впервые за весь день охранник меня оглядывает. Я решила, что он меня узнает, но на самом деле он посмотрел на меня как баран на новые ворота – дескать, что это за дама, которая носит под сердцем от такой звезды?

– Опять двадцать пять... Вы знаете, сколько женщин с понедельника сказали то же, что сейчас вы? Вы б хоть сговаривались. Некоторые даже животы казали. Повторяю: никого, кроме родных и музыкантов группы. Приходите на той неделе – уверен, что ребенок за это время в Майами не сбежит. Если оно...

– Эдди! Закрой рот и занимайся охраной.

– Да вот, тут одна дама пристает...

– Ну так отвадь ее.

Я быстро делаю шаг назад. Еще не хватало, чтобы кто-то из этих мужчин притрагивался ко мне. Всегда норовят ухватить тебя за задницу или передок. Сзади подъезжает автомобиль, и из него выходит белый. Какую-то долю секунды меня подмывает выкрикнуть: «Дэнни!», но сходство исчерпывается только бледностью кожи. Длинные каштановые волосы, мелкая острая бородка (мне такие были по вкусу, а Дэнни нет). Желтая майка, джинсы-клеш от бедра. Может, это от жары, но впечатление такое, что (1) он американец, и (2) американцы-мужчины носят плавки с еще большей неохотой, чем американки-женщины носят бюстгалтеры.

– Ёкарный бабай... Глянь-ка, Тэф, Иисус восстал.

– Да ты что? Вот же блин, а я и покаяться не успел.

Белый мужчина шутки, похоже, не уловил. Я отшагнула в сторону со слегка, вероятно, излишней демонстративностью.

– Привет, ребята. Я – Алекс Пирс из «Роллинг стоун».

– Ну-ка постой, Иисус-штаны-в-обтяжку. Джа тебя знает, а вдруг ты врешь? Двое «роллингстоунов» здесь уже побывали – одного звать Кит, другого Мик, и что-то ни один из них на тебя не походил.

– Да они все на одно лицо, Эдди.

– Что верно, то верно.

– Я из *журнала* «Роллинг стоун». Мы говорили по телефону.

– Со мной по телефону ты говорить не мог.

– Ну так с кем-то из офиса. Возможно, секретарь брала трубку, не знаю. Ну так я из *журнала*, американского. Мы освещаем всех, от «Лед Зеппелин» до Элтона Джона. Не понимаю: секретарь назначила на третье декабря, шесть вечера, когда у него перерыв между репетициями. И вот я здесь.

⁴¹ Скуби-Ду – пес, популярный персонаж американского мультсериала.

– Босс, секстетаря у нас нет. Ты что-то путаешь.

– Но...

– Послушай. У нас четкие указания. Никого, кроме родных и группы, – ни туда, ни сюда.

– Опа. А почему у вас всех автоматическое оружие? Вы что, от полиции? В прошлый мой приход секьюрити была другой. Вы на нее не похожи.

– А вот это тебя не касается. Отойди-ка на шаг-другой.

– Эдди, этот человек на входе тебя все еще достает?

– Да вот, говорит, из журнала, про какой-то там «Лезбиян» и Элтона Джона.

– Да нет же: «Лед Зеппелин» и...

– Скажи ему: пусть катит.

– А вот я сейчас разряжу обстановку, – с усмешечкой говорит белый и вынимает бумажник. – Мне нужно всего десять минут. Идет?

Чертовы янки всегда думают, что мы, как они, и что все на свете представляет собой объект купли-продажи. В первый раз я радуюсь, что долболоб-охранник такой въедливый. Он смотрит на деньги, смотрит долго и пристально. Но бывает, что и американские денежки – самые ценные фантики в кошельке янки – не открывают всех дверей. Подкуп одного не означает смены поведения всех. Что за деньги такие: достоинство разное, а цвет один, зеленый... Видит Бог, нарядные деньги – не единственная нарядная вещь, которой на поверку грош цена. Наконец охранник перестает глазеть на свернутые трубочкой купюры и уходит от ворот дома к дверям.

Я не сдержала смехок. Правильно: когда нет сил бороться с соблазном, лучше бежать. Белый человек смотрит на меня раздраженно, а я лишь хмыкаю еще раз. Не каждый день такое увидишь: ямаец, который при виде белого не кидается кланяться – «чего изволите, масса?», «будет исполнено, масса». Дэнни в свое время это выламывало. А затем начало нравиться. Еще бы, круто, когда белая кожа – главный пропуск. Меня даже слегка удивляла та клёвость, которую я сейчас испытывала: вот так стоять рядом с белым, которого, как и тебя, на равных завернули, словно нищего. Чувствовать себя с ним на одном уровне хотя бы в этом. Нечего нос задирать, считая себя людьми высшей пробы; то же самое и со знакомыми сирийцами, которые мнят себя белыми.

– Вы что, летели из самой Америки только для того, чтобы написать о Певце?

– Ну а как же! Он сейчас – самый писк. А число звезд, собравшихся выступить на этом концерте, – это же фактически второй Вудсток.

– Да?

– Вудсток был...

– Я знаю, чем он был.

– Ну вот видите. Так что Ямайка сейчас гремит на весь мир, по всем новостям. А этот концерт... «Нью-Йорк таймс» только что опубликовала материал, что в лидера ямайской оппозиции стреляли. В офисе премьер-министра, ни больше ни меньше.

– В самом деле? Наверное, это новость и для самого премьер-министра, поскольку у оппозиции нет никакой причины ошиваться в его офисе. Тем более что он на окраине. На этой самой дороге. И здесь, как слышите, нет никакой пальбы.

– Но в газете сказано совсем другое.

– Ах, ну тогда, конечно, нужно верить. Если вы пишете дерьмо, то поневоле должны его нюхать, из раза в раз.

– Да ладно вам. Тоже мне, разбили в пух и прах... Я, между прочим, не турист какой-нибудь. Я реально знаю Ямайку.

– Вот молодец. А я живу здесь всю свою жизнь, но реальной Ямайки так пока и не узнала.

Я иду прочь, а белый человек трогается за мной. Наверное, оттого, что остановка транспорта всего одна. Может, Кимми наконец-то уже сподобилась навестить своих чертовых родителей, которых ограбили, а мать, возможно, и изнасиловали. Но как только я перехожу на ту сторону, мною с новой силой овладевает желание остаться. Чё к чему? Я знаю, что домой мне идти как бы и не к чему, и нет разницы, что сегодня, что вчера или завтра. Она разве что в заголовках о какой-нибудь застреленной семье, постановлении о комендантском часе, об очередной изнасилованной женщине или о том, как возрастает вал преступности на окраинах, отчего дуреешь от страха. Или в том, как мои отец и мать пытаются вести себя так, будто бандиты не отняли у них что-то, исконно и сокровенно существовавшее между ними. Весь тот день, что я провела у них, они ни разу друг к другу не прикоснулись.

Белый человек садится в первый же подошедший автобус. Я – нет и внушаю себе, что это якобы из-за того, что я не хочу ехать с ним в одном автобусе. Но я знаю, что пропущу и следующий. И тот, что за ним.

Демус

Кто-то же должен меня выслушать, почему бы не вы. Где-то, кто-то, как-то будет судить быстрых и судить мертвых. Кто-то напишет о суде над добрыми и злыми, потому как я злой и терзаемый мучениями и нет никого злее и терзаемей меня. Кто-то, лет может через сорок, когда Бог придет за всеми нами, не оставив здесь ни одного. Кто-то вздумает об этом написать, сядет воскресным днем за стол, под поскрипыванье пола и жужжанье холодильника, но не будет вокруг него клубиться духов, как они клубятся безотлучно вокруг меня, и напишет мою историю. И не будет знать, что писать и как писать, потому что он ее не прожил и не знает, как пахнет кордит⁴² или каков вкус у крови, когда она застоялась во рту, как ее ни сплевывай. Ни капли он ее не чувствовал. И не будет на нем ночами возлегать даппи⁴³ и морочить его снами, от которых кончают, высасывая при этом из него жизнь через рот, а я хоть и сплю со стиснутыми до скрипа зубами, но когда просыпаюсь, все мое лицо в густом соку, будто меня кто облил желе и сунул мордой в холодильник. Иоанн Креститель предрекал эту напасть. И злые да убоятся.

А начиналось все вот как.

Как-то раз – я тогда жил в Джунглях – стоял я возле дома у колонки; специально вышел спозаранку, чтобы помыться, а то кто ж тебя на работу примет, если от тебя воняет. И вот я стою за домом на дворе – дом у нас многоквартирный, – и только я намылился, как вдруг влетает фараон с пистолем. Оказывается, на какую-то там женщину – она только-только собиралась в церкви Богу помолиться – какой-то говнюк из Джунглей напрыгнул и отделал. И вот фараон мне: «Ага! Ты чего это там, извращенец, со своей свистулькой играешься? А ну иди сюда, живо!» Я пытаюсь с ним утрясти – ну, Джа Растафарай наказал нас с врагом все утрясать: «Да вы что, господин полисмен? Я тут просто моюсь, ванну принимаю». А он тогда подходит и целует меня рукояткой пистолета по губам, аж кровь пошла. «Ты мне полей еще по ушам, – говорит, – поганец. Ты ж тут с собой любовью тешишься, с хренком своим играешь, содомит паскудный». И прямо в лоб спрашивает: «Ты церковницу на Норт-стрит изнасиловал?» А я ему: «Чего? Да на кой она мне сдалась? У нас тут для этого своих подружек хоть отбавляй». А он меня тогда шлёп по задку, как будто я женщина, и говорит: «А ну-ка давай отойдем». Я ему: «Позвольте мне домыться или хоть трусы одеть», и тут он щелк затвором. «А ну пошел, – говорит, – шибзденыш. Шевелись». И толкает меня дулом. Мы идем, а снаружи еще семерых согнали, и люди смотрят. Кто-то при виде меня отворачивается, другие, наоборот, пялятся, а на мне из одежды только пена несмытая. А еще один фараон говорит: «О. Ты его подловил как раз при смывании улик».

Фараоны – я насчитал их шесть – говорят: «Один из вас – гнусный насильник, топчущий богомолиц по пути из церкви. А так как вы здесь в гетто все лживые поганцы, то я даже не буду просить виновника выйти вперед». Мы стоим, не знаем, что делать: если из нас хоть кто-то назовется насильником, его тут же пристрелят, даже до тюрьмы не довезя. И вот первый из фараонов, который за всех командовал, говорит: «Но мы-то знаем, как вас вывести на чистую воду. А ну все легли на землю!» Мы топчемся, озираемся, на мне уже пена полопалась, и конец наружу торчит. Фараон дважды стреляет вверх и орет: «Всем лечь!» Ну, мы попадали, лежим. Он просит у еще одного фараона зажигалку, хватает газету, что валяется у обочины. «Теперь, – говорит, – слушайте, что я с вами собираюсь делать. Сейчас вы у меня будете трахать землю, да как следует». Один из нас рассмеялся – шибко уж все это комедию по телику напоминало, – но тут фараон два раза пнул его в бок. «Итак, начали! –

⁴² Кордит – нитроглицериновое взрывчатое вещество, основа бездымного пороха.

⁴³ Даппи – в культе вуду злобный дух, которого призывают, чтобы кому-либо отомстить.

кричит. – Трахаем!» Ну, мы давай наяривать. А он: «Шибче, задорней!» Земля твердая, в ней камушки, стеклышки битые, мне уже бедра свело, хрен весь натерся, я возьми и перестань. А он орет: «Тебе кто велел остановиться?» И газету поджигает. «А ну трахай, я сказал! Трахай, трахай!» – и сует мне горящую газету в задницу. Я взвизгнул, а он лишь обозвал меня «девкой». «Трахай, – говорит, – да повеселей». И поджигает бумагу еще одному пацану, и еще, а мы наяриваем, наяриваем.

А он ходит и сверху поглядывает. «Так, – говорит одному, – ты трахаться не умеешь, марш домой. Ты тоже пшел вон. А ты, я вижу, умеешь, значит, остаешься. Ты иди, ты тоже. Ты... А ну-ка, ну-ка, у тебя вроде как получается. Ты, жопошник, вали отсюда, а вот ты, наоборот, останься». Это он имел в виду меня. Хватают нас троих и бросают в свой фургон, а я все еще голый. Спрашиваю себе хотя бы трусы, и фараон говорит: «Ладно, будет тебе что одеть». Мол, твоя баба пришла, поднесла. «Но только для гетто они слишком уж хорошие, так что мы их у себя оставим». А моей женщине фараон влепил оплеуху и сказал: «Имей достоинство, перестань трахаться с аборигеном из гетто». Так вот и сказал. В тюрьме мы тогда проморились неделю. Меня пинали в лицо, лупили дубинкой, пинали по яйцам, хлестали плеткой с гвоздями – она у них называется «букра масса», «белый хозяин»; одному из наших сломали правую руку. Только тогда они решили, что с нас вроде как хватит. И все эти дни я сидел голый, а они надо мной за это надсмехались.

А на седьмой день случилось вот что. Та изнасилованная передумала – меня, дескать, кто-то из Тренчтауна отделал, так что я от своих показаний отказываюсь, – и нас выпустили. Никто мне и слова сочувствия не сказал, фараоны ни в чем не извинились. Топай, мол, пока цел. Вот я и притопал в Копенгаген. Ну, а когда я там попался фараону, что палил в воздух и орал «я здесь закон и порядок», я уже ученый был. То есть тоже с пистолем. Их было двое. Не знали они того, что в гетто я хорошо научился стрелять, не хуже того солдата из «Грязной дюжины»⁴⁴. Я тогда, помнится, это кино смотрел и все пересматривал, пересматривал. Когда они наконец сдрейфили и побежали, я их пристрелил обоих – одного в голову, а другого не насмерть, в яйца, чтоб он своим хером больше в жизни не воспользовался.

А дальше вот что. Братья Певца – нет, не он сам, другие – пустили весточку, чтоб мы приехали к Певцу в дом. Это уже само по себе что-то невообразимое. Лохмач теперь переехал на окраину, звал к себе только тех, кого хотел, и то в основном самых-самых воротил или тех, кто бьет без промаха. Только Лохмача там сейчас не было, а была братия, и они позвали туда Хекля, а тот сказал, что ему в помощь нужно еще пять или шесть людей. Дом у Певца был самый большой, какие я только видал. Я прямо так к стенам руками притронулся: со мной ли это происходит, наяву ли. В первую поездку я даже как-то не все запомнил, так много всего было. В первый раз я был в этой части города. В первый раз видел белую женщину в прикиде как раста. В первый раз увидел, как живут люди, у которых есть вещи. Но только Певец за все это время ни разу не появился, а только братья и еще целая куча людей, которых я до этого никогда не видел; были даже белые. Они сказали, всё просто. В Джемдауне готовятся большие скачки, все это знают. И вот что там надо устроить. Главный жокей может выиграть, а может и нет, но если делать ставки на него, высокие, а он вдруг продует, то это такая тьма денег, что ни разу и во сне не снилась. И не в одном, а даже в двух. Столько деньжищ, что каждому человеку в гетто можно купить своей бабе по спальному матрасу. В спецмагазине.

Мне матрас по барабану. Я просто хочу мыться не снаружи дома, а внутри; хочу увидеть статую Свободы, а еще хочу себе джинсы «Ли» – настоящие, а не херню с липовой чекухой. Короче, не этого мне надо. А надо денег столько, чтобы перестать их хотеть. Если мыться снаружи – то потому, что это я, мля, хочу мыться снаружи. Вы мне чё, матрас из

⁴⁴ «Грязная дюжина» (1967) – кинобоевик об американской версии штрафбата.

спецмагазина? А нельзя ли чего получше? Хочу посмотреть Америку и не уезжать, а заставить ее понять, что могу уехать в любой момент, как только *сам* того захочу. Потому как устал от того, что люди, способные сорить деньгами, смотрят на меня, как на скотину. Хочу денег столько, чтобы, когда ими сорю, мне было по барабану, потому что у меня их завались. И вот братия мне говорит: «Укради жокея, перетри с ним всё и утряси».

Скачки планировались на субботу. А во вторник Хекль привез меня и еще двоих к ипподрому «Кайманас-парк». И вот как только главный жокей там отзанимался и пошел к своей машине, мы к нему подбегаем, мешок ему на голову, заталкиваем в машину и увозим. Притащили его на старый склад в центре, он нынче стоит пустой. Хекль сует жокею пистоль в рот по самые гланды – он аж закашлялся – и говорит: «Ты, гнида. В субботу чтобы сделал вот что». И рассказал.

Жокей тогда продул все три заезда. А потом прыгнул на самолет в Майами и пропал как по волшебству. Но потом пропал и кое-кто еще. Всего четыре человека, которые собрали кассу в «Кайманас-парке», и все они из числа братии. А я, Хекль и много других остались ни с чем. *Вообще* ни с чем. Мне думалось, я самый из них обозленный, но потом я увидел, как один из братьев сжал бутылку с «Хорликом» так, что она лопнула, и ему пришлось накладывать швы. К субботе мы все идем на дом Певца, потому что тот, который в нем, должен, по всем понятиям, отдать то, что нам причитается. Но Певец в турне. В следующий раз, когда мы туда идем, Певец дома, но до нас доходит весть, что он уже повстречался и что-то перетер кое с кем из Джунглей. Нам с Хеклем об этом никто не сказал. То есть опять нам подстава. Никто даже не замечает, когда мы с Хеклем делаем так, что исчезает один из их пацанов. Но теперь, судя по виду, кое-кто из людей начинает получать деньги и всякое такое, а у нас в этом нет доли. Зря я говорю об этом своей женщине, так как через это только порчу ей настроение. И теперь, когда я думаю о братии, ушедшей за границу с деньгами, я хочу пожечь весь тот дом на Хоуп-роуд. Так поступают, когда надо кого-то разорить дотла.

Когда меня в первый раз находит Джоси Уэйлс, он спрашивает, умею ли я пользоваться пистолем. Я смеюсь. «Да я пользуюсь им искусней, чем Джо Грайнд⁴⁵ своим членом», – говорю ему я. Он тогда спрашивает, не проблема ли для меня стрельнуть одного парня. «Не проблема, – говорю, – но стреляю я только вавилонских фараонов или людей, на которых у меня зуб. Шмальнул уже троих и не остановлюсь, пока не шамльну десятков». Он спрашивает, почему десятков, а я отвечаю: «Потому что десять – число, которое даже Бог счел бы весомым. У меня на них душа горит». Он говорит: «Ну, тогда скоро. Скоро я буду скармливать тебе фараонов, как питону – крыс». Тут я ему рассказываю, что у меня болит нога; болит еще со времени моей отсидки, страдаю уже с год. А его друг Ревун говорит: «Это можно вылечить прямо сейчас». И с тем первым разом я так быстро размяк, что после этого стал умолять его насчет кокса чуть ли не со слезами, как девушка: «Ну пожа-алуйста». А ведь и в самом деле: боль прошла, как бывает, когда курнешь травки. Но травка меня замедляет. А от кокаина у меня разгон. И я говорю: «Погоди-погоди. Все это как-то слишком уж ништяково. Ты даешь мне белый порошок, пистоль и денег за то, чтобы я убил людей, которых не прочь ухлопать за бесплатно? Сегодня что, первое апреля?» Джоси Уэйлс мне говорит: «Нет, бро. То, что мы зальем наш кингстонский Вавилон фараоновской кровью, – это без вопросов. Но сначала я хочу еще кое-чьей кровушки».

Вот это я и хочу сказать перед тем, как писатель скажет это за меня. Когда боль была так сильна, что мне могла помочь лишь крепкая трава, единственное, что помогало мне помимо этого, – Певец. По радио его что-то не крутят. И смотрящая за мной деваха дала мне кассету. Музыка не сказать, чтобы снимает боль, но когда она играет, я перестаю влачиться за своей болью, я пересаживаюсь на ритм. Но когда Джоси Уэйлс прошлой ночью сообщил, *кого* он

⁴⁵ Джо Грайнд – популярный темнокожий певец и музыкант.

желает моими руками застрелить, я притащился домой и заблевал. Заблевал мучительно. Утром я просыпаюсь с мыслью, что это был, должно быть, дурной и страшный сон, но под дверью нахожу записку, что мы с ним должны встретиться в старом брошенном вагончике возле моря. Я злой, я истомленный и терзаемый человек, но мы никогда бы с ним не сговорились, знай я, что он желает убить Певца. Это жжет мне мозг едче, чем что-либо прежде. И вот теперь я не сплю, а лежу у себя в комнате с широко раскрытыми глазами и слышу, как моя деваха похрапывает во сне.

Когда восходит луна и ее свет через окошко кабаньим клыком вспарывает мне грудь, я знаю, что Бог идет судить меня. Никто из тех, кто убивает фараонов, не отправляется в ад, но убить Певца – это нечто иное. Я даю Джоси Уэйлсу рассказать мне, что Певец лицемер, нашим-вашим, заигрывает с обеими сторонами, дуря и ту и другую. Даю рассказать, что у него, Джоси, большие планы и нам давно пора перестать быть штафирками гетто для белого человека, что живет на окраине и до выборов ему на нас наплевать. Даю сказать, что Певец – приспешник ННП, кланяющийся премьер-министру. Киваю, когда он говорит, что мне надо будет одного за другим ухлопать еще троих (мне это все равно). Даю сказать, что нас поддержат братья. Он тоже живет в доме, как жирная домашняя крыса, изнывая, просто изнывая, чтобы я, и *только* я показал ему, что с парнем из Джунглей шутки плохи. Когда близится утро, я все еще не сплю, чем и держусь. Довольно. Я хочу сунуть пистоль ему в жопу и впендюрить туда пулю.

Я молча сижу на кровати, а моя деваха в это время ворчит, что в доме есть нечего, и собирается уходить, потому что, если ННП выиграет снова, она не сможет найти хорошей работы. Я жду, когда она уйдет, после чего натягиваю штаны и выхожу наружу. Под колонкой я не плещусь с того самого случая с фараонами. Солнце еще не поднялось, и вокруг все яркое, зеленое и прохладное. Я босиком иду вдоль улочки, мимо оцинкованного забора, затем еще деревянного забора и жестяной крыши, которая у людей прижата камнями, шлакоблоками и всяким там мусором. Те, у кого есть работа, и те, кто ее ищет, уже ушли, оставляя тех, кто найти ее не может, потому что эта часть города за ЛПЯ, а у власти ННП. Я продолжаю идти. К тому времени как я дохожу до края Джунглей, солнце почти уже в зените и на чьем-то радио слышно музыку. Диска. Я слышу веселое повизгивание: у колонки, трясая грудями, занимается стиркой женщина, возя тряпье по стиральной доске. Ощущение такое, будто я никого не знаю или все, кого я знаю, ушли.

Джоси Уэйлс при встрече задал мне два вопроса. Я шел по дороге из Джунглей к Мусорным землям, а он подъехал на белом «Датсуне» и остановился. В машине сидели еще двое: Ревун и кто-то, кого я не знаю до сих пор. Он сказал, что слышал про мое заправское владение оружием, и спросил, как так получилось, ведь в гетто все стреляют не прицельно. Я сказал, это потому, что в отличие от них у меня для моей пули есть кое-кто конкретный. Тогда он сказал: «Ты хорош, но хороших много. Мне же нужно, чтобы ты был голоден». Объяснять мне это не было нужды, смысл его слов я понимал в точности. Это было неделю назад. Теперь я каждый вечер вижусь с ним в вагончике. Как-то ночью туда пришел один белый и сказал, что на пристани болтается некая партия груза, за которой никто не смотрит, и было бы грустно, если б с ней что-то произошло, – но ведь это Ямайка, верно? Здесь всю дорогу что-нибудь да пропадает.

Это то, что я хотел рассказать. Кто-то ж должен знать, кто я такой и откуда, хотя, в сущности, это ничего не значит. Люди, говорящие, что у них нет выбора, просто слишком трусливы, чтобы выбирать. Стало быть, сейчас шесть вечера. И через двадцать четыре часа мы выходим к дому Певца.

Алекс Пирс

Поп-фест вроде этого по-своему смачен. Я в Кингстоне, где-то между «Студио Уан» и «Блэк Арк»⁴⁶, в мыслях дознаться, по какой такой причине эти места у хиппи такие культовые. Я понимаю, «бедному мальчику нечем заняться, кроме как петь рок-н-ролл» – так поется у «роллингов», – ну а богатый со своей стороны может отпустить волосы, перестать брить подмышки, а заодно, при наличии средств, стёб и трендовость начать путать с отказом от традиционных устоев, впадая очертя голову в растафарианство, – по крайней мере, по своему собственному утлому разумению. А затем этот неофит отправляется на остров Святого Варфоломея или Мауи, в Негрил или Порт-Марию, свой новый статус празднуя дозами ромового пунша. Этих новоявленных хиппаков я исконно ненавижу душою всею. А теперь дело еще и усугубилось: появились состоятельные ямайцы, изображающие из себя хиппи, которые корчат из себя растаманов (вы представляете? охренеть!). Хотя, эй, это ж Ямайка. Можно на крайняк покайфовать под какой-нибудь «Биг юс» или Джимми Клиффа.

Но когда я сюда прибываю, первый раз в этом году, то неожиданно обнаруживаю, что по радио здесь сплошняком крутят «More More More», «*How Do You Like It How Do You Like It*» – репертуар, основанный на слащавости и фальши. Переключаюсь на другую станцию, и что? «Ma Baker She Knew How to Die». Мотаю дальше, на FM – «*Fly Robin Fly up-up to the Sky*»⁴⁷ (!!). Спрашиваю у шофера, челночащего из отеля в аэропорт: «А где у вас можно услышать “Майти Даймондс” или Диллинджера?» Он посмотрел на меня так, будто я предложил ему соснуть, и сказал с ухмылкой: «Если вы ямаец, сэр, это еще не значит, что вы торгуете травкой». Здесь даже «АББА» звучит чаще, чем регги. «*Dancing Queen*» я пропитан уже настолько, что чувствую, как поневоле голубею.

Я живу в «Скайлайне», отеле с чарующим видом на... еще один отель, прямо перед окнами. В Кингстоне идешь по улице и то и дело видишь знакомые лица – белого парня, черного парня, кучу промежуточных оттенков. Думаешь: «Где ж я их встречал?» А они, оказывается, все постояльцы одного отеля, или гости дома Певца, или просто обитают на улице. Даже погоду по телевизору вещает черный. Оно понятно, темнокожие на каждом шагу встречаются и в Штатах, но там ты их *не видишь* – во всяком случае, в качестве теледикторов. По радио – да, их гоняют постоянно, но как только песня заканчивается, исчезают и они. Мелькают и на экране, но только если кому-то в передаче хочется приколоться или крикнуть «караул!».

Ямайка в этом плане другая. По телевидению здесь выступает ямаец. Титул «мисс Мира» завоевала белая, но она тоже с Ямайки. Совсем недавно она заявила, что Певец ее бойфренд и она ждет не дождется своего возвращения к нему. Ей-богу. Да, в этом городе определенно есть приколистки, и все они ох как умеют танцевать. Порой кажется, что даже транспорт за окном пляшет под какую-то свою музыку. Всё это, а еще знаменитое местное восклицание – «бомбоклат!». Не «бомба» и не «клад»; на самом деле это ямайское ругательство, переводится типа как «жопись подтирка». Американцы на курортах произносят его как «бамперклат» и козыряют им – дескать, видите, какой я знаток местного колорита! – в то время как Пятница в облиии улыбчивой девушки плетет им на голове дреды (Пятница – это не день недели, а черномазенький раб-друг Робинзона Крузо; я когда впервые такое обращение услышал, то аж выронил стаканчик с коктейлем – все покосились. Но с той поры я освоился и теперь разговариваю как заправский, бомбоклат, ямаец).

⁴⁶ «Студио Уан», «Блэк Арк» – ямайские студии звукозаписи, популярные среди поп-исполнителей.

⁴⁷ Фразы из диско-хитов 1970-х.

Народ здесь любит потусить, ходит с легкой расхлябанностью, но при этом все знают свое место. Если ты разговариваешь с достаточным числом персонала в отеле, то в речи у тебя постепенно прорезается белый акцент и ты общаешься на свой манер, но люди относятся к этому с пониманием, прощают ляпы, потому что их так научили. А поскольку все здесь завязано на расизм, ляпы случаются то и дело. Как-то раз черный чувак попросил шофера отнести в автобус его чемоданы, так тот просто взял и ушел. Чувак тогда начал орать, что все здесь до сих пор озабочены этой хренью насчет «хижины дяди Тома»⁴⁸, и всем стало понятно, что чувак из Америки. Но и тогда шофер попросил сначала показать ему ключи от номера. На улице подход тот же самый, пока ты не отойдешь достаточно далеко; там люди становятся реальнее.

И все же Ямайка и все эти места, как бы это сказать, культовые. У Сержа Генсбурга, гаденького французишки, лепящего один за другим второсортные диски и клеящего озабоченных нимфеток, есть одна история. Приезжает он как-то на Ямайку, чтобы «э-э-э... запеть рьеггей», а мужики на студии просто потешаются над ним и в хэ не дуют. Это, типа, что за щупленький бомбоклат-французинька? А Серж им: «Я, э-э... самый знаменитый есть поп-певец». Они: «Чё? Да мы тебя знать не знаем, а единственная, бомбоклат, приличная французская песня, которая нам известна, это “Жатам”⁴⁹». Серж тогда и говорит: «“Жётэм”? Так вот я ее и напел»⁵⁰. И всё: Генсбург в Кингстоне после этого стал как бог. Или я однажды, в «Студио Уан», попросил кого-то принести мне кофе, черного, без сливок. Так он мне: «Чё? А у тебя самого чё, руки отсохли? Иди, бомбоклат, сам себе неси». Такая вот классика.

Вообще я висел на хвосте у Мика Джаггера, но черт меня дернул тиснуть в печати, что никто не назовет «Черное с синим»⁵⁰ непонятым шедевром ни через десять, ни через двадцать лет. Ну и пошел он, этот Мик, лесом вместе с Китом, и весь «Роллинг стоунз» с его колонкой сплетен в частности. Я уже близок к цели, получив наводку на кое-что реально крупное. Как вам «*Время Армагеддона*» – звучит? Самое жужжащее, важнейшее по грохоту событие в мире вот-вот рванет, а между тем оно не в чартах. Чувствуется, что Певец что-то затевает, и оно даже не имеет отношения к концерту за мир. У меня несколько лет ушло на шарахания по округе, чтобы убедить и доказать людям, что я не какой-нибудь там тупенький белый паренек, жаждущий попасть на закрытую вечеринку, чтобы люди обратили на меня внимание и начали со мной разговаривать. Гребаный кингстонский котик на ресепшене не знает даже, кто такой Дон Драммонд⁵¹, но настойчиво твердит, что все для себя нужное я сыщу в Нью-Кингстоне.

Есть еще один нюанс. Ямайцы, причем не только те, что работают в отеле, но также завсегдатаи баров и ресторанов – шоколадные и белые, пьющие ром и джин, – при виде моей камеры первым делом спрашивают, не из «Лайфа» ли я, после чего наставляют, куда мне ходить не надо. Слушайся я их, я в итоге очутился бы в «Игуана-клубе» с гребаными диско-утятами и скучающими богатыми гетерами, которые, наигравшись в теннис, захотели гульнуть. Когда же я говорю, что мне больше по нраву клуб «Вертушка», на меня смотрят в недоумении, а затем, когда я не спрашиваю, как туда проехать, – и с подозрением (хотя чего спрашивать, если по глазам видно, что не знают?). Буквально пару часов назад я спросил у консьержа: «А где здесь у вас проходит джем-сейшн?» Он смотрит, а я про себя гадаю, что он сейчас скажет. И оказываюсь прав. «Сэр, – спрашивает он, – зачем вам смешиваться с таким

⁴⁸ «Хижина дяди Тома» – известный роман Г. Бичер-Стоу, направленный против рабовладения в Америке.

⁴⁹ «Je T'aime» (фр.) – «Я люблю тебя».

⁵⁰ «Черное с синим» (англ. Black and Blue) – альбом «Роллинг стоунз» (1976).

⁵¹ Дон Драммонд (р. 1943) – тромбонист, один из музыкантов «Скаталайтс».

аморальным элементом?» Надо было, пожалуй, загодя заключить с ним пари на предмет отсосать. Впрочем, тема для рассказа у меня несколько иная.

Я еду на такси в отель, и таксист дорогой спрашивает, играю ли я на скачках. Я на скачки не хожу, но он – да; и знаете, кого он видел пару недель назад на ипподроме? Певца. Тот был там с двумя ребятами, один из которых – некто Папа Ло. Я навел об этом субъекте некоторые справки. Рэкет, крышевание, пять дел об убийствах (до суда дошло лишь одно, вердикт оправдательный). Заправляет районом трущоб под названием Копенгаген. И вот он, Певец, в компании двоих бандюганов от политической партии, которой он теоретически противостоит, но при этом общается с ними как со старыми школьными приятелями. А еще через несколько дней его видят в компании уже Шотта Шерифа, крестного отца Восьми Проулков – вотчины другой партии, диаметрально противоположной первой. Двое главных заправил разных лагерей, и всё в пределах одной недели. Двое человек, фактически контролирующих две половины враждующего Кингстона. Может, он просто осуществляет функции миротворца? То есть он же *певец*, не более. И тут до меня начинает доходить: на Ямайке внешности всегда обманчивы. Всегда и во всем. Четких линий и личин здесь не бывает. Заваривается какая-то каша, и я уже чую ее по запаху. Я, кстати, не упоминал, что через две недели здесь выборы?

Ну, а если этот запах учуяли сразу два белых парня из Нью-Йорка, то след, наверное, уже подостыл? Или жареным запахло еще сильнее? В Кингстон со мной одним рейсом летел один козлина, Марк Лэнсинг, весь полет тщательно меня сторонившийся. Ну а как же. Вшивенький кинодел-дилетант, все еще пользующий папину кассу для снятия здесь, на Ямайке, фильма, посвященного концерту за мир. По словам Лэнсинга, его нанял рекорд-лейбл. Может быть. Но когда на Ямайке объявляется мутный мазафакер вроде него, который без надлежащего опыта работы думает отснять материал такого глобального события, мозг у меня начинает прибрасывать: а все ли здесь чисто? И не пахнет ли здесь дерьмом?

Мой таксист просто пытается выиграть достаточно денег для того, чтобы свалить из страны. Он считает, что, если Народная национальная партия снова одержит верх, Ямайка может стать следующим коммунистическим режимом. Этого я не знаю, зато досконально знаю то, что глаза без малого всех сосредоточены на Певце, словно вся страна делает на ставку на то, как он поведет себя дальше. Возможно, бедняга просто хочет выпустить альбом лирических песен и прикрыть лавочку. Вероятно, он тоже чувствует – все это чувствуют, – что Кингстон достиг точки кипения. Вот уже две ночи подряд консьерж гостиницы ночует на ресепшене, прямо за стойкой. Мне он этого не говорил, но это видно по мешкам под его глазами. Начальству он, должно быть, рапортует, что это из преданности профессии, но лично я держу пари, что он просто до смерти боится идти по темноте домой.

В мае некто Уильям Адлер по местному ТВ сообщил, что здесь под эгидой американского посольства действует одиннадцать агентов ЦРУ. К июню семеро из них покинули страну. Куда как с добром. Тем временем Певец, никогда не жмуший на педаль тормоза, напевает, что раста на ЦРУ не работает. На Ямайке, где и без того дважды два равно пяти, сумма вырастает до семи. И все эти нити стягиваются вокруг Певца петлей. Вы бы видели нынче его дом: охрана, как в Форт-Нокс⁵², вход и выход запрещены. Причем охраняет его не полиция, а банда громил, именуемая, как я выяснил, «командой “Эхо”». Все последнее время именуют себя командами – пусть это шайка или взвод охраны. Там еще снаружи топталась какая-то девчонка – говорила, что ждет от него ребенка (враля, наверное). Имеет ли туда вход Лэнсинг? Он сказал, что снимает концерт для лейбла, значит, видимо, имеет доступ за кулисы. Гаденыш. Получается, чтобы добыть какую-то информацию, придется проявлять с ним обходительность. Противно, но что поделаешь.

⁵² Форт-Нокс – военная база в шт. Кентукки, место хранения золотого запаса США.

Я стараюсь не выглядеть голодным. Двадцать шесть лет от роду и шесть по окончании колледжа мать все пытается меня, когда я перестану быть неумным «розовым»⁵³, «гонщиком» и найду себе настоящую работу. Я впечатлен ее подкованностью в политике, а вот словечко «гонщик» она подцепила явно от моей младшей сестры. Мать также считает, что мне нужна любовь хорошей женщины, предпочтительно не темнокожей. Быть может, глядя на меня, она чувствует человека, одержимого целью. Думаю, я пытаюсь внушить себе, что я не из числа тех белых мальчиков, кружащих в поиске, к чему бы примкнуть, дабы хоть что-то собой представлять, потому что после Никсона, Форда и пентагоновской прессы, гребанных «Карпентеров» с Тони Орландо⁵⁴ верить больше не во что, уж во всяком случае, не в рок-н-ролл – боже упаси. Забросив в Западный Кингстон, рудбой оставили меня в покое, поняв, что терять мне нечего. Может статься, я просто недоумок, шастающий почем зря по свету. Думаю, у меня есть проблемы, но не те.

В мое первое посещение Ямайки мы прилетели в Монтего-Бэй и двинули в Негрил – я и девушка, отец которой был отставным армейцем. Мне нравилось, что она понятия не имеет, кто такие «Ху», а «Велвет Андерграунд» слушала потому, что росла с немецкими детьми на военной базе. Через несколько дней я не сказать, чтобы чувствовал себя «членом семьи» – это пахло бы слащавостью, – но у меня было чувство или ощущение, а может, просто вера, которая внушала мне: «Теперь ты обрел свое место». Нет, я не захотел жить конкретно здесь. Но помнится, однажды я проснулся рано утром, как раз когда снаружи еще благословенная прохлада, и у меня сам собой оформился вопрос: «Какая у тебя история?» Может, я имел в виду страну, а может, себя. Мне кажется, я выражаюсь понятно. Мне имеет смысл задуматься, что такое тикает в этой стране, готовой грохнуть взрывом.

Всеобщие выборы через две недели. Над городом чутко присело ЦРУ, оставляя своей шишковатой задницей потный отпечаток «холодной войны». Журнал, надо сказать, не ждет от меня ничего особенного: какой-нибудь абзац о том, как там записываются «роллинги», плюс какую-нибудь фотку Мика или Кита – полуодетые, студийные наушники, рядом какой-нибудь ямаец для колера. Ну их всех к хренам. Гораздо интересней докопаться, какую игру ведет Марк Лэнсинг? Затеять такую аферу самолично этому спермоглоту не хватило бы ума. Завтра надо будет снова отправиться в дом Певца. У меня, между прочим, назначено. Хотя можно подумать, на Ямайке это что-то значит... И кто этот Уильям Адлер?

⁵³ «Розовый» – уничижительное прозвище либералов и левых, сочувствующих коммунистам.

⁵⁴ «Карпентерс» (англ. Carpenters) – американский вокально-инструментальный поп-дуэт 1970-х гг., состоявший из сестры Карен и брата Ричарда Карпентеров; Тони Орландо (р. 1944) – американский поп-певец.

Джоси Уэйлс

Ревун – человек с морем разлитым историй. Все они начинаются с анекдотов, потому как Ревун человек, который любит пошутить. И вот так-то он разыгрывает из себя рыбака, потому как шутка – это заготовленный для тебя крючок. И вот как он только тебя подлавливает, то уж тащит через самые черные, самые алые, самые жаркие ямищи ада, какие только можно себе представить. А затем снова смеется, откидывается и наблюдает, как ты силишься оттуда выбраться. Мой совет: никогда не спрашивайте его об Электрическом Буги. Вот, скажем, я сейчас сижу в баре, смотрю под музыку на танец женщины, как, казалось бы, подобает смотреть на нее мужчине, но о чем же я думаю? А думаю я о Ревуне.

Джунгли никогда еще не порождали такого руди, как Ревун, и, наверное, никогда больше не породят. Он не похож ни на кого из тех, кто жил в Балаклаве до ее падения в шестьдесят шестом году. Мать заставляла Ревуна ходить в школу, и он проходил туда аж до средней ступени. Мало кто знает, что Ревун сдал три предмета на аттестат зрелости – английский, математику и черчение, а до того как Вавилон упек его в тюрьму, почти уже прочитал толстенную книгу. Читал Ревун так увлеченно, что стал вынужден воровать очки, пока не подобрал себе те, что ему шли. И вот, видя рудбоя в очках, народ стал думать, не прячет ли он что-то за своими глазами. Мать его ребенка получила хорошую работу в свободной зоне потому только, что была единственной за всю историю зоны женщиной, которая послала настоящее письмо о трудоустройстве, которое написал, конечно же, Ревун, а не она.

В каждом из рассказов Ревуна значитесь только один герой, и это сам Ревун – кроме человека, который все еще шлет ему письма; человек, о котором он любит говорить без умолку, – как он сделал то, сказал сё, научил его тому, сему, и за чуток кокса или какое-нибудь колесико Ревун позволял ему делать то, от чего им обоим было хорошо. Об этом человеке Ревун рассказывает так, будто ему полностью наплевать, что и как о нем подумают, потому что всем известно: Ревун, он такой, что ему запростяк шмальнуть мальчика перед его собственным отцом, а затем еще заставить того отца отсчитывать пять последних мальчиковых вздохов. Главное – не спрашивать его насчет Электрического Буги. У Ревуна есть история даже о Певце.

Нельзя угодить вниманием всем, особенно когда ты выходишь на дело, но и здесь Ревун, если ты проявишь к нему невнимательность, может принять это близко к сердцу. В шестьдесят седьмом году Ревун был юнцом из Кроссрудс, там, где центр переходит в окраину. Жил себе, никуда не лез и думал, что со своей математикой, английским и черчением сможет приткнуться где-нибудь в проектировочной конторе. В тот день он не забыл как следует причесаться. Надел серую рубашку и темно-синие штаны, которые мать купила ему, чтобы он носил их в церковь. И вот представьте: идет себе Ревун щегольком по Кроссрудс, ботиночками постукивает и смотрится для этой улицы прямо-таки фертом. Идет, расправив плечики, ни на кого не похож хотя бы тем, что ему, в отличие от многих, есть куда идти.

И вот когда Ревун сворачивает налево в сторону Карибского театра, вдруг откуда ни возьмись фараоны – целая прорва. Два полных грузовика. Один хватает его, другой угощает прикладом в голову, и он падает. А на суде ему вменяют владение огнестрелом и что он сопротивлялся при аресте, да еще специально ранил двоих полицейских.

Судья говорит: «Ты обвиняешься в деле по ограблению ювелирной лавки Рэя Чанга на Кроссрудс, а также в умышленном ранении стражей порядка. Признаешь ли ты себя виновным?» Ревун отвечает, что не знает ни о каком ограблении, но полиция говорит, что у них есть свидетель. Ревун говорит: «Ничего у вас нет, вы просто хватаете любого темнокожего, какого только встречаете в спальном районе. Вроде Маркуса Стоуна из Копенгагена, который сидит за убийство, случившееся через двое суток после его ареста». Получалось,

что судья по-любому или болван, или куплен, или и то и другое. Судья тогда говорит: «Я даю тебе шанс раскрыть твоих сообщников». Ревун отвечает: «Сообщников тоже никаких нет, потому что не было преступления». Ревун был реально невиновен, но не мог позволить себе адвоката. Судья дал ему пять лет общего режима. А за день до тюрьмы к Ревуну пожаловали фараоны. Парни из Копенгагена, Джунглей, Ремы и Уотерхауса с ними не дружат. Но фараоны просто хотят показать, чего ему ждать от тюрьмы. Даже уже после приговора Ревун все еще держал надежду: ведь у него была жива мать, а за плечами – три сданных экзамена на аттестат, так что в жизни можно чего-то добиться. Ревун думает, что они на равных: за ними сила, а за ним правда. И стало быть, правота. Он думает, не могут же они принять очкарика за рудбоя. Уповает даже, что вот выручил же Господь Даниила, спася его из ямы со львами. Фараонов шестеро, и один из них говорит Ревуну: «Мы пришли тебе кое-что преподать – от чувства будешь плакать, как девушка». Ревун, который тогда еще звался Уильямом Фостером, никак не мог удержаться от словца – не держалось оно в нем – и говорит: «Вы и сами, я гляжу, такие чувственные». Первый удар дубинки руку ему не сломал, а вот второй – да. Фараон ему орет: «А ну назвал нам, мля, имена своих соучников!» Ревун ревет от боли, но опять не может без острот: «Это сообщников по очку, что ли?» Фараоны говорят: «Ничего, мы знаем, как тебя разговорить». Но сами-то знают, что сказать Ревуну нечего – это ж они его и взяли, потому как голь из гетто не должна, не имеет права гарцевать в приличной одежде, как будто она и на самом деле что-то собою значит; небось стибрил, ворье, одежду у приличных людей. Знай свое место, поганый ниггер.

Кокнули ему левое стеклышко в очках – они теперь с трещинами, а Ревун их спецом так и носит, хотя может и поменять. Тащат его в какую-то камеру, в которой он еще не был. Сдирают на нем всю одежду, вплоть до трусов, и привязывают к шконке. Фараон спрашивает: «Знаешь, ублюдок, что такое Электрический Буги?»

Один из них подходит с проводом от кофеварки. Из шнура торчат две жилы. «Ты у нас жопником будешь», – говорит один фараон, а другой хватает Ревуна за хер и одну жилу вокруг головки обматывает. Провод суют в розетку – ничего не происходит. Но когда второй жилой начинают касаться губ, десен, кончиков пальцев, сосков, задней дырки – вот тогда... Ревун мне об этом ничего не рассказывал, но я знаю. Ревун для тюрьмы был человек новый – тот, которого ломают до, а не после. Я слышал, первую неделю в тюрьме все старались держаться от него в сторонке: оно и понятно, раненый лев опасней невредимого. Взять его, казалось бы, легче, только ты вместе с ним можешь ненароком отправиться в ад.

Ревун может целый разговор с тобой вести одними глазами. До сих пор; и это одна из причин, отчего с ним лучше всего ходить на дело. Он на одной стороне магазина, я на другой, и в два подмига с одним взглядом мы оба знаем: он берет на себя заднюю дверь, я беру прилавок и стреляем в любого, кто хотя бы сунется поддернуть штаны или к себе в сумку. На стволе Ревуна пять зарубок слева, а справа ни одной. Каждая, что слева, – фараон. И...

– Йяу! Йяу, Джоси! Вернись, брат, Земля тоскует по тебе!

– Ревун? Ох, ёксель-моксель, когда ты успел объявиться? Я даже и не заметил.

– Минуты не прошло. Ну, с небольшим. Думаешь, это хорошая идея, так воспарять мыслями в этом баре? Ты же отвлекаешься!

– А что?

– М-м? Да ничего, солнце. Бро вроде тебя может и отвлечься, когда за тобой следит еще один.

– Чего ты так припозднился?

– Ты ж меня знаешь, Джоси. У каждой дороги свой шлагбаум. Так из какого мира ты сейчас воротился?

– Из далекого. Не иначе как с Плутона.

– Ясен месяц. Там, где у баб сиська одна, а письки сразу две?

– Не, это больше напоминает «Планету обезьян».

– Вот как? Ну, значит, есть шанс засадить им сразу в обе...

– Только не начинай снова развивать тему траханья с обезьянами.

– И почему же?

– Об этом всю елозят по ушам твои братья-атеисты, сторонники эволюции от шимпанзе.

– Успокою тебя: здесь мы с великим Чарли Дарвином расходимся. Нормальные люди, бро, от обезьян не происходят. Исключение разве что Шутник: его мамаше не иначе как мандрил разок качнул.

– Ревун! Ёшь твою медь!

– Что стряслось, солнце?

– Бро, у меня ж пива в стакане было больше половины – готов поклясться!

– Рад за тебя.

– Так это ты, бомбоклат, пивком моим поживился?

– Так оно ж у тебя без дела стояло. А меня еще бабушка учила: если долго стоит, значит, уже общее.

– А она знает, бабушка твоя, что ты только что выпил слабительное?

– Вот тут я попал... Ну, рассказывай, с чем пришел.

Ревун еще разговорчивей, чем обычно. Может, из-за этого бара, где выпивка развязывает языки всем, кроме меня. Он знает, что я терпеть не могу, когда нужно решать вопросы, а он является под кайфом. Ревун пытается втюхивать, что кокс-де сглаживает остроту углов, но это все херь, которой он наслушался от своего белого дружка, который сел за наркоту, когда на него навалилось посольство, или понабрался из фильмов и лепит бог весть что. В таком состоянии он находит драку там, где ее на самом деле нет. Да еще и подозрительность похлеще, чем у Иуды, когда тот прятался после выдачи Христа.

– Эй, Джоси, а это там не твой «Датсун», снаружи? Там сидит человек. Три часа.

– Что ты такое несешь? И при чем здесь мой «Датсун»?

– Тот человек, с трех часов.

– Сколько раз тебе говорить: не лепи мне эту хрень из детективов.

– Ну ладно, мудила. Человек позади тебя, справа... да не смотри ты. Высокий, темный, симпатичный, губа, как у рыбы на леске. Сидит у стойки, но ни с кем не разговаривает. Уже три раза сюда поглядел.

– Может, он вроде тебя?

Ревун посмотрел на меня жестко. Мелькнула мысль, что он сейчас ляпнет что-нибудь эдакое и заслужит, чтобы я на него ругнулся. Хотя Ревун заслужил право творить все, что ему вздумается, пускай даже связанное с содомией. Об этом он болтает все время, но как бы окольно, эзоповым языком, загадками и намеками. Все это он складывает «на греческий лад» (его слова, не мои). Что здесь греческого, я ума не приложу. Но это не значит, что он будет терпеть, если кто-то попробует ответить ему тем же. Что-то непременно произойдет, скажи ему кто-то что-нибудь о нем самом, пусть даже общеизвестное.

– Он говорит: «Рыбак рыбака видит издалека». – Я начинаю подрыгивать ногой.

– Этот человек за нами смотрит.

– Это в тебе кокс распоряжается. Конечно, он на нас смотрит. На его месте я бы в баре тоже не спускал с меня глаз. Этим он сейчас реально и занимается. Он, как и все здесь, узнает меня, а теперь и тебя. Сидит и думает: «Кого они сейчас договариваются порешить? И сколько пройдет времени, пока они его укокошат? Мне сейчас расслабиться по максимуму или дать отсюда деру, роняя кал?» Мне даже оборачиваться не надо, я спиной вижу: одна рука у него на стакане, другая тарабанит пальцами по стойке. Гляди: вот я сейчас по счету «три» обернусь, резко, и он отведет глаза. Раз, два... три.

– Ха-ха, он чуть не опрокинул стакан. Брат, может, это переодетый фараон?

– Может, тебе лучше перестать нащупывать свою пушку? У тебя впереди еще двадцать два дня рождественского отпуска. Успеешь добавить пару зарубок.

Ревун пристально на меня смотрит, а затем начинает хохотать. Никто не хохочет так, как он: начинает сипловато, а потом вдруг набирает силу и взрывается заливисто, на все, язви его, помещение. И кто научил этого черного крепыша так хохотать? Смех разносится по бару, и к нему присоединяются другие, сами не понимая отчего.

– Нынче я чего-то заморочен донельзя.

– Это потому, что ты думаешь, что завтра чем-то отличается от сегодня. А на самом деле все дни одинаковы. Знаешь, Ревун, почему я делаю ставку именно на тебя? Знаешь или нет? Да потому что в людях я больше всего не переносу, когда они говорят мне только то, что собираются сделать. Потому и политиканам не верю – никому из них. Мне они говорят единственно о том, что думают сделать.

– «Никогда не давай политикану оказать тебе услугу. Он потом с тебя не слезет»... Я тебе ни разу не рассказывал, как нежданно встретился с Певцом?

Тысячу и один раз. Только я Ревуну об этом не напоминаю. Есть вещи, которые он повторяет на десять, на сто, на тысячу раз, пока сам в конце концов не притомляется.

– Нет, не рассказывал.

– Да ты что? Короче, на третий год службы...

Годы своей отсидки он всегда называет «службой».

– В общем, на третий или через три выводят нас на пляж Порт-Хендерсона.

– Не понял: они что, водят заключенных купаться? Я бы мигом уплыл.

– Да нет же, *нет*. Нас выводили на работы, дерево таскать на рубку. Ты прав: была б такая возможность, я бы миг охранника заточкой чикнул. Ну и вот, бро, вкалываем мы, и вдруг вижу – откуда-то подходит Певец со своим, как видно, другом. Смотрит на меня и говорит: «Мы здесь все будем за тебя бороться, ты понял, брат?» А я стою и смотрю – *он*, и перетирает *со мной*? И говорит мне, что будет сражаться за мои права! *Мои права*! А затем смеется и уходит. После я этого мандюка возненавидел хуже гадюки.

Да, он и вправду ненавидит Певца. Хотя реально та история не имеет к Ревуну никакого отношения. Он-то думал, что разговаривают с ним, у него сердце и подпрыгнуло. Ревун даже хотел к нему подойти, даром что охранники смотрели. А потом понял, что Певец обращается не к нему, а к тому, что рядом с ним. По какой-то причине даже после плети с гвоздями, дубинок и после того, как ему насали в рис за пререкания с охраной, это уязвляет Ревуна сильнее всего. Кровь у него так и кипит. То, чего на деле не было, он хочет, чтоб было, и именно с таким исходом. Ну, а мне и дела до того нет; главное – это чтобы его тянуло спустить курок, когда мне того надо.

– Ну что, нас все уже ждут у лачуги, – говорю я. – Время ехать.

Все, кроме Бам-Бама. Его нужно будет забрать на машине. Он весь день смотрит за домом.

– В самом деле, брат, в самом деле.

Бам-Бам

Когда ствол приходит в дом жить с тобой, это значит ох как многое. Сперва это замечают люди, что живут с тобой. Женщина, с которой живу я, начинает смотреть на меня по-другому. Все разговаривают с тобой по-другому, когда видят у тебя на штанах то приметное вздутие. Нет, дело даже не в этом. Когда ствол приходит жить к тебе в дом, то это именно ему, стволу, а не человеку, который его держит, принадлежит последнее слово. И оно проходит между мужчиной и женщиной, когда они перетирают – не всерьезную, а даже по мелочам.

Она: «Ужин готов».

Он: «Я не голодный».

«Ну ладно».

«Надо, чтобы он был теплым, когда я проголодаюсь».

«Хорошо-хорошо».

Когда ствол приходит жить в дом, женщина, с которой ты живешь, начинает обходиться с тобой по-иному – не холодно, но она теперь взвешивает свои слова, отмеряет их перед тем, как с тобой заговорить. Но ствол разговаривает и с хозяином; говорит поначалу, что ты им никогда не завладеешь, потому как снаружи есть тьма людей, у которых оружия нет, но они знают, что оно есть у тебя, и когда-нибудь ночью они прокрадутся, словно Никодемус, и его похитят. Никто по-настоящему стволом не владеет. Ты этого и не знаешь, пока он у тебя не появляется. Если кто-то его тебе дает, то этот кто-то может взять его обратно. Другой, видя его при тебе, может подумать, что он на самом деле принадлежит ему. И он не спит, пока им не завладеет, потому как до этих пор не может заснуть. Голод по оружию, он хуже, чем голод по женщине, потому как женщина, коли на то пошло, может невзначай снова по тебе проголодаться. А ствол... Ночами мне не спится. Я стою в темной тени, гляжу на него, поглаживаю, смотрю и жду.

Через два дня после того, как уезжает Папа Ло, мы слышим, что он был в Англии, где смотрел, как раскатывает с концертами Певец. Ходит слух, что в это же время в Англии находился и Шутник, но никто не может сказать, правда ли это: последнего стукача у нас здесь распнули прямо на Мусорных землях. Человек, что завозит в гетто стволы, говорит, чтобы мы ночью ждали в контейнере с надписью «Концерт мира». Когда мы втроем попадаем в док, то там пусто так, будто там недавно побывал и уехал Клинт Иствуд: все брошено, кран не работает, прожекторы не светят, людей нет, только вода поплескивает о причал. Ящик уже ждал на месте, готовый и открытый. На «Датсуне» Джоси Уэйлса подъехал Ревун. Мы с ним и Хеклем втащили ящик на заднее сиденье и машину загрузили настолько под завязку – тут тебе и оружие, и патроны, – что ни я, ни Хекль вместе в машину уже не помещались. Тогда Ревун, перед тем как уехать, оставил нам денег на такси, но в гетто такси не ходят, особенно в комендантский час, и мы на эти деньги набираем себе жарчки в «Кентукки фрайд чикен». Кассир ждет, пока мы уйдем, чтобы уйти самому, но поторопить нас боится.

Тем вечером тот же белый, что балует с «Фраузером», учит меня, как стрелять. Многие сходятся из гетто, и когда он видит одного из них, то улыбается и говорит: «Чего трясешься, Тони?» Но Тони не отвечает. Никто не знает, что когда-то давно они с Тони ходили в нашу маленькую школу в Форт-Беннинге; никто не знает, чтобы этот Тони вообще ходил в школу. Он ставит мишень и говорит, чтобы я стрелял. А потом человек, который завозит в гетто стволы, смотрит на меня и улыбается. Ревун говорит белому, что Папа Ло теперь не такой сильный, но белый слова Ревуна понимает плохо. Он только кивает, смеется и говорит «усёк!», а потом смотрит на Джоси Уэйлса, чтобы тот все ему повторил медленней, и все равно смеется, даже над тем, что не смешно. От этого лицо Джоси Уэйлса смурнеет еще больше, потому что все знают, как он гордится, что умеет хорошо говорить. Белый говорит,

что мы тут все боремся за свободу от тоталитаризма, терроризма и тирании, но никто не знает, что эти слова означают.

Я смотрю на других ребят – двое младше меня, пятеро старше, включая Демуса и Ревуна. Все мы темнокожие, все терпеть не можем причесываться. Все носим хаки, габардин или штаны из брезентухи с закатанной до колена правой штаниной, а из заднего левого кармана торчит тряпица, потому как от этого стильный вид. Кто-то носит вязанные разноцветные беретки-тэмы, но не все, потому как тэм носят раста, а раста вроде как примыкают к социалистам. Этот самый «сицилизм» – очередной «изм», надоевший так, что даже Певец написал об этом песню. Затем белый говорит о том, как кое-кто свой хорошо подвешенный язык пускает на агитацию людей, и как тоталитаризм всегда происходит от согласия, а мы киваем, будто бы понимаем его. Девять раз он произносит слово «хаос». Он говорит, что страна когда-нибудь поблагодарит нас за это, и мы снова киваем, как от понимания.

Но Джоси Уэйлс хочет чего-то большего, чем эта партийная возня. Мне думается о том, что он всегда пахнет как-то иначе, пусть даже его женщина одевает. Запахом вроде чеснока и серы. И после повторного показа, как нужно стрелять, Джоси Уэйлс говорит, что мы собираемся в Рему, потому что ниггеры там чего-то распоясались. «Надо бы приопустить тех заносчивых черномазиков», – говорит со смехом белый и уезжает на внедорожнике. Опять эта Рема, всегда между ЛПЯ и ННП, между капиталистами и социалистами. Джоси Уэйлс говорит белому, что он сам никакой не «ист», что он поумнее их всех и сделает чего от него хотят, если его потом оставят в покое в Майами. Белый говорит, что не разбирает, о чем там буровит Джоси, но склабится, будто знает какой-то лукавый секрет, известный ему и дьяволу. Прошла молва, что люди из Ремы ропщут оттого, что ЛПЯ вложила деньги, консервы и починила канализацию в Копенгагене, а у них – нет, и что, может, настала им пора реально присоединиться к ННП и превратить Восемь Проулков в Девять. Все это рассказывает Ревун, когда мы возвращаемся к лачуге возле железной дороги. Все это он говорит, замешивая при том белый порошок с эфиром и нагревая смесь зажигалкой. После чего втягивает смесь ноздрей и дает попробовать сперва мне.

Мы едем в Рему на «Датсуне». Я хватаюсь за дверь, а она как будто мягкая, и воздух проходит мне через волосы, словно двести женских пальцев гладят мне соски, – так, наверное, чувствует женщина, когда ты сосешь ей сиси, голова кружится в хмельном вихре, как будто я разгуливаю без головы, и темная улица становится темней, а желтый свет фонарей желтей, а та девчонка в доме через улицу пробуждает такую похоть, что мне тесно в своих штанах и хочется трах-трах-трах – трах-трах-трах каждую женщину на свете, и я протрахую насквозь мисс Ямайку, а когда у нее из манды полезет лялька, то я затрахую и ее, надавлю на спусковой крючок и расстреляю весь белый свет. Но я хочу трахаться, а у меня больше не стоит. Не стоит, не стоит! Это, наверное, из-за смеси. Кокс или герыч. Не знаю. Не знаю ни хера, бомбоклат, и скорей бы уж машина приехала куда надо, а то она тащится как улитка, хочется распахнуть дверь и выскочить, и бежать всю дорогу вперед, а затем обратно, и снова и снова бежать, так быстро, что я лечу, и хочу трах-трах-трах, но нестойк! Не-сто-як! А радио в голове играет убойный песняк, который по радио никогда не играется, и я сейчас держу ритм, дикий ритм! А другие ребята в машине тоже его ощущают и тоже это знают, а я гляжу на Ревуна, который смотрит на меня и тоже знает, а я могу поцеловать его взасос и застрелить за то, что он жопник, и снова хохотать, хохотать, а машина врывается в холм, и мы как будто на небеса, но нет, хотя да, на небеса, и «Датсун» летит тоже, а голова у меня превращается в шар, и тогда я думаю о Реме и как те, кто там живет, должны получить от нас урок, и я хочу, чтобы они его так реально затвердили, что хватаю и передергиваю затвор у «М16», но на самом деле хочу схватить на улице мальчишку и свернуть ему шею – так вот крутить, крутить, крутить, пока она не отскочит пробкой, и тогда я зачерпну крови, разотру ее по лицу и скажу: «А ну, козлы, кто сейчас себя неприлично ведет?», и буду трах-трах-трах – но

у меня нестояк! Не-сто-як! А «Датсун» скрежещет тормозами. И не успевает Ревун что-то сказать, как мы выскакиваем и бежим по улице, а улица мокрая, и улица – это море, хотя нет, улица – это небо, и я лечу сквозь него и могу слышать свои шаги, как будто они чьи-то чужие и шлепают по тротуару, как выстрелы, и вот я в кинотеатре с Джоси Уэйлсом, потому что показывают «Инфорсера» про Гарри Каллахана и еще какого-то плохого парня, потому что пацан со стволом – мужик, а не пацан, и каждый раз, когда Клинт Иствуд стреляет в пацана, Джоси Уэйлс поет: «Люди, вы готовы?» А мы поем: «Боооу!» И палим по экрану, пока он не становится как решето и ничего не видно из-за дыма. Тут все выбегают из кинотеатра, но понимают, что пускай лучше фильм идет, или мы вломимся в аппаратную и наведем там шороху. И перед тем как стрелять снова, я вспоминаю, что мы в полях Реме, а не в киношке, и мы стреляем в дом и магазин, который еще открыт, а люди там мечутся и вопят. «А-а-а, с-суки, бегите-бегите, стрелки приехали на разборку, всех вас на-а-а-а-х!!» Но попадать во всех не получается, чтобы насмерть, и от этого я просто реально-реально схожу с ума, и все так же хочу трах-трах-трах, и не знаю, почему я так до одури хочу трахаться, но стояка все так и нет, и я загоняю одну из девчонок, хватаю ее и кричу: «Я тебя сейчас порешу!», и хочу это сделать, но Ревун хватает меня и лупит по лицу рукояткой своего ствола и говорит: «Ты чё, ёбу дался?» Это просто предупреждение, но я хочу убить и его, но он уже дает сигнал к отходу, потому как говнюкам в Реме хоть и слабó, но у одного или двоих здесь тоже есть стволы, но кому есть дело до этих мудаков из Ремы? Пули отскакивают от меня, как от Супермена. На мне «С» с груди Супермена и «Б» с пояса Бэтмена. Мы видим пацана и гонимся за ним, но он юркает, как мышь, в норку величиной только для мыши, и я кричу жопошнику выйти и принять смерть реально как мужчина, и я безумно хочу его убить; хочу убивать, убивать, убивать, после чего появляется собака, и я бегу за собакой, мне нужно ее убить, я хочу убить эту собаку, убить собаку! Джоси Уэйлс и другие бегут к машине и ловят пацана, пинают его в спину, в голень, в жопу и говорят: «Это тебе за всех козлов в Реме, которые хотят подстелиться под ННП, понял? Так что запомни, сука: у нас есть стволы и мы знаем, с кем ты», и пинают его снова, и он убегает, а я хочу его застрелить, и Ревун смотрит на меня, а я хочу застрелить и его, хочу реально его застрелить сейчас, прямо сейчас, но Ревун говорит: «А ну, бомбоклат, мухой на заднее сиденье, иначе тебя тут так напичкают пулями, что на ветру свистеть будешь», а я не понимаю, потому что когда я хочу трах, то хочу трах-трах-трах, а когда убивать, то хочу убивать-убивать-убивать, а теперь понимаю, что я не хочу умирать, и боюсь-боюсь-боюсь, и никогда так не боюсь, как сейчас, и сердце колотится реально-реально-реально быстро. Но я прыгаю на заднее сиденье и думаю о стрельбе, и как оно ощущается лучше хорошего, и как мне сейчас лучше, чем хорошо, и как я только что начал думать, что мне лучше, чем хорошо, а я начал уже не ощущать себя так хорошо. Уезжать из этого рыбного городка, никого не убив, дает ощущение, как если бы кто-то чувствовал, что кто-то умер, и непонятно почему. Особо как-то ничего не чувствуешь, но все-таки. И темнота уже не была такой темной, а езда никогда не была такой длинной, хотя здесь не так уж далеко, и я знал, что Ревун на меня злится, и я подумал, что он может меня убить и убить всех и весь Копенгаген с его серостью, ржавью и грязью, и я это ненавижу и не знаю почему, потому что это все, что я знаю, и все, о чем я думаю, это когда я курю эту штуку, все выглядит так хорошо и каждая дорога красивая, а каждую женщину я хотел бы тут же оттрахать, а когда стрелял из ствола, то мог убить всех, и это было самое клёвое убийство, а теперь его вот нет, и красное уже не такое красное, синее не самое синее, а ритм не самый сладкий ритм, и от всего этого пробирает грусть, но было также что-то, чего я не могу описать, и я хочу одного: снова чувствовать себя хорошо, и прямо сейчас.

И Папа Ло вызверился, как безумный, с криком: кто, мол, давал Джоси Уэйлсу и Ревуну позволение наводить шорох в Реме? Кто, бля, спрашивается?! Ты кого, говорит, послушался? И похоже было, что Папа Ло сейчас Джоси Уэйлса ударит, но тут он видит нас, меня и

стволы. Не знаю, что он такое думает, но, наверное, что-то тяжелое, потому как уходит. Но сначала говорит всем, каждому и как бы никому, что когда-нибудь у нас полностью израсходуются люди, которые убивают. Джоси Уэйлс шипит и уходит трахать свою женщину или играть со своим отпрыском. Женщина, с которой жил я, смотрит на меня так, будто прежде никогда не видела. Она права. Такого меня она не видела никогда.

Наступает семьдесят шестой год и приносит с собой выборы. Человек, что завозит в гетто стволы, дает ясно понять, что правительству социалистов больше не бывать. Сначала все здесь будет гореть адским пламенем под стон проклятий. Нас посылают на отстрел двух из Восьми Проулков, но потом посылают и дальше. На рынке Коронейшн мы подходим к продавщице и модно одетой женщине, вроде как она из богатого района, и стреляем ту и другую. Назавтра идем на Кроссрудс, прямо там, где центр трется об окраину, врываемся в магазин посуды и устраиваем пальбу. Еще через день останавливаем автобус, идущий из Западного Кингстона в Святую Екатерину. Начинаем грабить и нагонять страху, но тут женщина-полицейский кричит нам «прекратить!» так, будто она Старски или Хатч⁵⁵.

Она не успевает вовремя вытащить ствол, и мы выволакиваем ее из автобуса, а автобус уезжает. Под придорожным кустом мы стреляем в нее шесть раз, а мимо едут машины. Когда мы стреляем, ее тело исполняет танец пуль, а до этого Джоси Уэйлс делает то, что заставляет меня сглатывать блевотину, которая просится наружу. Папа Ло такого бы не допустил. А Джоси машет перед нами стволом и обещает, если мы проболтаемся, нас покарать.

Женщина, с которой я живу, смотрит, как я меняюсь, но мне нет ни до чего дела, если я не курну. И скоро Ревун дает мне понять, что между мной и моей затяжкой стоят козлы, которых нужно умертвить. Мне требуется награда, что-то, чтобы снять депрессию. Это теперь и случается: ты или куришь, или грезишь насчет обкурки, и грезишь так, будто бы кто-то умер и его не возвратить.

По Ямайке идет молва, что преступность распоясалась, страна катится к чертям, безопасности нет даже в зажиточных районах, а ННП теряет власть над страной. До выборов две недели, и Папа Ло посылает нас в каждый дом, чтобы напомнить людям, как надо голосовать. Один из пацанов говорит, что не собирается слушаться Папы Ло. Джоси Уэйлс мог бы прошипеть и пробурчать что-нибудь двусмысленное, но Джоси Уэйлс никогда не забывает, что Папа Ло стал Папой через то, что был самым жестким и крутым авторитетом в гетто. Папа Ло подходит прямо к пацану и спрашивает, сколько ему лет. «Семнадцать», – говорит пацанчик. «Ну, значит, к восемнадцати заживет», – говорит Папа Ло и стреляет ему в ступню. Тот вопит, подпрыгивает и снова вопит. «Совсем озверели! – кричит еще один, рядом с ним. – Забыли, кто в стране власть!» – «А, так ты забыл кто?» – говорит Папа и наводит на него ствол. Тот весь трясется и головой так отчаянно мотает: «Папа Ло, ты дон, дон из донов». А Папа Ло смеется, когда видит, что он еще и струю под себя пустил. «Ну-ка подлизывай», – говорит. Мальчишка на секунду обомлел, а Папа Ло стреляет рядом и говорит: «Или ты подлижешь за собой ссаки, или мы подмоем за тобой кровь». И пацан, видя, что он не шутит, встает на коленки и начинает вылакивать свои ссаки, как ошалелый кошак.

И вот мы заходим в улицу, pinaем открытую дверь, вышибаем запертую, и там какой-то старик, всего один и полубезумный, говорит, что ни за кого не голосует, и тогда мы выволакиваем его из дома, снимаем с него рубаху со штанами и сжигаем их, а потом сдираем и трусы и тоже их сжигаем, pinaем его пару раз и говорим, чтоб он хорошенько подумал, голосовать ли ему и за кого, иначе мы начнем жечь вещи в доме, а женщина, с которой я живу, спрашивает, придут ли вот так же за ней, потому как ЛПЯ и ННП одинаковое дерьмо, и я говорю: «Может, и придут», и она тогда больше не говорит мне ни слова. Но когда приходит тот белый, а за ним – человек, что завозит в гетто стволы, они разговаривают с Джоси

⁵⁵ «Старски и Хатч» – комедийный боевик режиссера Т. Филлипса.

Уэйлсом, а не с Папой Ло. Папы даже и в гетто толком не бывает, он почти все время ошибается с Певцом.

Ночь. В декабре здесь прохладней. Певец у себя в доме. Живет, поет и играет. Вся Ямайка и все гетто судачат, как он решил устроить концерт за мир «Улыбнись, Ямайка», хотя все это пропаганда ННП, а его дом ночью и днем стережет «Команда “Эхо”» – плохие парни, которым платит ННП. Полиции никакой, кроме одной машины, которая останавливается, когда стемнеет. Внутри никто не заходит, и почти никто не выходит наружу. Я смотрю, как проезжает машина, и вижу, как в комнате загорается свет, гаснет и снова загорается. Смотрю, как приходит и уходит менеджер – невысокий, плотный, – и какой-то белый с коричневыми волосами. Певец как-то сказал, что жизнь для него ничего не значит, если он не может помочь большому числу людей, и он им помогает, но он только дает им то, что им нужно, а молодым ничего не нужно, они просто хотят всё. Мы поем другие песни, песни молодежи, которой записывать свои песни не по карману, и мы скачем под реальный рок-ритм, неотесанный и страшный, потому как танцуют только женщины. И мы поем песни, которые приходят нам во сне, что если лететь как молния, то и рушиться будешь как гром. Певец-то думает, что Джонни-рудбой какой был, такой и есть, но Джонни меняется, и этот Джонни за ним еще когда-нибудь придет. Перед вечером я вижу, как Певец курит травку с Папой Ло, а затем дает конверт человеку, что щемится с Шотта Шерифом, и даже люди крупнее меня недоумевают, что такое замышляет этот сумасброд с дредами. Этот Певец думает, что если он вышел из тех же мест, что и мы, то он понимает, как мы живем. Ничего он не понимает. Все они одним миром мазаны; все так думают, после того как уедут и возвращаются обратно. Что все здесь осталось в том же виде, как когда они уехали. Но мы другие. Мы жестче, чем он, и нам все побоку. Он сбежал отсюда до того, как сделался таким, как мы.

Ну а мы? Мы тут самые крутые плохие парни. Мать Хекля как-то вышла из дома, когда мы караулили угол улицы и играли там в домино, и кто-то сказал: *«Как она, старая, может так себя вести – ведь знает, что мы здесь?»* И он шваркнул ее по лицу и сказал: *«Не смей проявлять неуважение к рудбоям, когда они на улице»*. Она и утерлась. Женщина, с которой я живу, спрашивает, буду ли и я так же с ней обращаться, но я ничего не сказал. На женщин у меня рука не чешется. Чего их бить? Я просто хочу дармового кокса, больше ничего и не надо. Позавчера иду я мимо дома какой-то женщины, смотрю – выходит Ревун, голый, и подходит к колонке там, сзади. Стягивает с хера гондон, отбрасывает и начинает подмываться. Всем известно: гондоны да таблетки от беременности – это всё козни белых, чтобы извести всех темнокожих, а ему и нет ничего. Я смотрю, как он снимает очки, моет себя во всех местах мочалкой с мылом, будто и колонка и дерево здесь для него одного, хотя этот дом даже не его постоянной женщины. И мне захотелось, нет, не отгрэхать, – я жопничество на дух не переношу, – а просто войти в него тайком, как даппи. Двигаться, когда двигается он, дрыгаться и елозить вместе с ним, попердывать тоже вместе, чуток выходить, а потом – бам-м! – с новой силой прямо в нутро, где мягче, жарче и податливей, то быстрее, то медленней. А затем захотел стать еще и женщиной. Чтобы стонать.

Нынче я смотрю за домом Певца один, хотя в другое время нас обычно несколько. Коренастый, с большим ртом, который ему за менеджера, скорее всего, думает, что мы всего лишь шобла из ребят, которые здесь то ли побираются, то ли думают надыбать травки, то ли мечтают, чтобы их заметили и позвали сыграть, но все равно к нам приглядывается. А мы возвращаемся в гетто, и белый, который его вроде как знает, рассказывает нам о каждой комнате в его доме. *«У всех здесь есть своя цена, даже у тех, кто под ним, и в какой-то момент они расходятся на перерывчик – точнее, на большой такой перерывище, может, даже с выездом на гребаную дискотеку с отрывом где-нибудь, мля, в Кингстоне. Усекли?»* Что в доме только один вход и один выход. Что хозяин устраивает себе перерыв где-то в девять – девять с четвертью и идет на кухню один, детей никаких в доме нет, а все кто надо

или в студии, или собираются расходиться. Что со ступеней вверх на кухню четкий обзор, но нам надо обдать все как душем, чтоб наверняка. Так что двое за рулем, двое заходят внутрь, а четверо зачищают конуру снаружи. Мы не совсем понимаем, что он такое говорит, и Джоси Уэйлс разъясняет, что он насчет «зачехлить кобуру снаружи» – дурь какая-то. Америкос опять краснеет, а тот, что завозит в гетто стволы, разъясняет наконец, что он имеет в виду «окружить дом и прочесать участок». Теперь ясно. Нам показывают фото. Певец на кухне – он сам, затем белый, который управляет лейблом; он же в студии (от крепкой травы шары выпучены – видно, что проперло), а с ним новый гитарист аж из Америки, успел уже трахнуть одну телку, а заодно ее сестру, сидит на колонке так, будто он сам Певец и уж подустал от самого Певца. Вся Ямайка в ожидании концерта «Улыбнись, Ямайка». Даже кое-кто из гетто собирается: Папа Ло говорит, что хотя оно и пропаганда ННП, но на Певца сходить надо. Ну, а я думаю лишь о том, что осталась всего одна ночь и я перестану голодать. Еще одна ночь, и я сниму у себя с груди «С» Супермена, а с пояса – «Б» Бэтмена.

Алекс Пирс

«Существует причина, отчего история гетто никогда не сопровождается снимками. Трудобой третьего мира – всегда кошмар, игнорирующий представления и факты, даже те, что смотрят прямоком на тебя. Видение ада – вихрящееся, обращенное на себя и заточенное под свой собственный саундтрек. Обычные правила здесь неприменимы. Остаются воображение, сон, фантазия. Стоит вам оказаться в гетто – особенно в гетто Западного Кингстона, – и оно тотчас отмежевывается от реальности, принимая вид гротеска, нечто от Данте или inferнальной живописи Иеронима Босха. Это ржаво-красное узилище ада, которое нельзя описать, поэтому делать потуги на описание не буду и я. Фотографировать его бессмысленно, поскольку некоторые части Западного Кингстона, такие, как Рема, пропитаны таким гнетущим и крошечным отвращением, что присущая фотографическому процессу внутренняя красота все равно будет сглаживать то, как все это гнусно на самом деле. Охват красоты не имеет границ, но то же можно сказать и о мерзости, а единственный способ четко охватить всю полноту нескончаемого водоворота гнусности, который олицетворяет собой Тренчтаун, это его вообразить. Можно описать его и в красках – красное и мертвое, как застарелая кровь; бурое, как грязь, глина или кал; белое, как мыльная вода, струящаяся вниз по узким улочкам. Блесткое, как новая оцинковка крыши или забора возле старого цинка, сам материал которого – живая история той поры, когда политик последний раз делал что-нибудь для гетто. Цинк в Восьми Проулках сияет, как никель. Цинк в Джунглях продырявлен пулевыми отверстиями и заржавлен в цвет грязи ямайской глубинки. Чтобы понять гетто, сделать его реальным, нужно забыть, что ты его видел. Гетто – это запах. Иногда это что-то сладкое. Детская присыпка, которой женщины припудривают грудь. Дезодорант «Олд спайс», «Английская кожа» и лосьон «Брут». Сырой запах недавно забитой козы, стручковый перец в супе из козьей головы. Едкость химикатов в моющем средстве, кокосовое масло, карболка, лаванда в мыле, разлагающаяся моча с кусками старого кала, сбегаящая ручейком по обочине дороги. Снова перец в курице джерк. Кордит от недавно пристрелянного пистолета, сгустки какашек в выброшенных детских подгузниках, железо в запекшейся крови после уличного убийства, оставшейся после того, как убрали тело. Запах несет память о звуках, которые тоже символика трудоб. Регги гладок и сексуален, но в нем также слышатся брутальность и скудность, как в донельзя обедненном и беспримесном дельта-блюзе. Из всего этого варева огнедышащего перца, крови от стрельбы, водяных струй и сладких ритмов происходит Певец – звучание в воздухе; но оно же и дух живого дышащего страдания, которое всегда там, откуда он родом, неважно где он и что пытается донести своей песней».

Драть твою лети... Так и тянет душком, будто б я пишу для дам, вкушающих ланч на Пятой авеню. «Нескончаемый водоворот гнусности»? Бэтмен, я тебя умоляю: ты же скатываешься в сенсуализм! Для кого я, блин, пишу? Ведь можно было проникнуть глубже, докопаться до сокровенной сути Певца, но я это как-то упустил, как и любой борзописец до меня, потому что настоящего Певца, язвы его, не существует. Закавыка в том, что сам-то он, мазафакер, вот он, только теперь, окопавшись в верхних строчках хит-парадов, он стал чем-то другим. Став чем-то вроде аллегории, он теперь эфемерен, как какая-нибудь томная девица, что под окном отеля поет, как ей обрыдли всякие там «измы» и «схизмы». Или уличные музыканты, что поют о сытости, а у самих в животе урчит от голода, но следующую строчку лучше не петь, потому как известно, что гораздо более чревато умалчивать про то, что знают все.

Уличные фонари за окном тянутся цепочкой до самой бухты, и сейчас они как оранжевые спички, мигают и гаснут – первый, второй, третий. Нет, в самом деле: скопления огонь-

ков и огней – желтые в одних местах, белые в других – гаснут квартал за кварталом, район за районом. Опа: я моргаю, а свет у меня в номере тоже моргает и гаснет. Кингстон отрубается уже третий раз за мой нынешний приезд, но сейчас полнолуние, и на какое-то время весь город становится серебристо-синим, а небо – цвета чудесного индиго, словно город в секунду стал деревней. Лунный свет падает на здания сбоку, и из земли вырастают светящиеся белесые стены. Огни исходят только от машин.

Снизу доносится тихое гудение. Я живу здесь то ли на десятом, то ли на одиннадцатом этаже; свет здесь снова оживает, только теперь с жужжанием. Мой отель включает аварийку; то же самое и отель напротив, и тот, что за ним, и искусственный оранжевый свет убивает живое серебро луны. Но центр города все так же в темноте; выключение, вероятно, продлится всю ночь. В даунтауне я был один раз, когда сопровождал Ли «Скрэтча» Перри⁵⁶, и тогда тоже произошло отключение. Об этом наслышан каждый репортер – о ямайском армагеддоне, когда жадно восстает к жизни всякий криминальный элемент в городе; буча беззакония и разборок. Тем не менее тогда было так тихо, словно Кингстон превратился в город-призрак. Впервые, помнится, я расслышал в бухте глухой шелест волн.

Чего я хочу, не знаю. В голове разброд. Спрашивается: кому хочется писать на тему музыки, когда рок-н-ролл мертв? Может, здесь подсуропили панки или же рок загибается, но все еще живет где-нибудь в Лондоне? Может, что-нибудь новое привнесут «Рамоны»⁵⁷, или рок-н-роллу следует периодически припадать к живительному источнику Чака Берри⁵⁸ и через это возрождаться? А иначе, Александр Пирс, единственный способ писания на тему рока – это бухтеть, как гребаный рок-критик. Вот, скажем, Уэннер⁵⁹ ждет, надеется и всей душою верит, что Мик и Кит вот-вот наконец проснутся, отложат в сторону наркоту, завяжут с проходными мелодиями и выпустят новый «*Let It Bleed*», а не мутную водицу вроде «*Goats Head Soup*» или, боже упаси, регги. Но вместо этого они, похоже, сосредоточились как раз на лепке песенок, от которых у них самих уже оскомина, и все не могут остановиться, ляпают по инерции одноразовые шлягеры. В эту страну я приехал, зная, что непременно что-нибудь добуду. И похоже, я к этому близок, только никак не могу нащупать, о чем именно идет речь.

Свет гаснет и снова загорается, на этот раз уже без гудения. Ей-богу, мне кажется, этого никто не ожидал. Похоже, город снаружи оказался просто застигнут врасплох. *In flagrante delicto*⁶⁰. Чем, интересно, в этой внезапной темноте занимается Марк Лэнсинг? Кого он здесь вообще знает? Парень, что рассказывал мне об укладах гетто, в свое время сам был рудбоем, пока не сел в тюрьму, а вышел оттуда уже другим человеком благодаря книгам. «Автобиография Малкольма Икса»⁶¹ – это бы можно было понять; я сам когда-то с интересом читал Элдриджа Кливера⁶². Но «Проблемы философии» Бертрана Рассела? Будучи бывшим руди «старой школы», мой осведомитель держится несколько особняком и возглавляет молодую группировку, посредничая между бандами. А чего еще ожидать от азиата – с него взятки гладки.

Иногда я завидую ветеранам Вьетнама – у них, по крайней мере, была вера в себя; им есть что терять. Вам никогда не хотелось махнуть куда-нибудь, где так хреново, что когда

⁵⁶ Ли «Скрэтч» Перри (р. 1936) – ямайский музыкант и продюсер, одна из ключевых фигур стилей даб и регги.

⁵⁷ «Рэмоунз» (англ. Ramones) – одни из первых исполнителей панк-рока в США.

⁵⁸ Чак Берри (р. 1926) – американский певец, гитарист, автор песен; один из наиболее влиятельных исполнителей раннего рок-н-ролла.

⁵⁹ Янн Уэннер (р. 1946) – основатель журнала «Роллинг стоун» (1967).

⁶⁰ На месте преступления (лат.).

⁶¹ «Автобиография Малкольма Икса» – автобиографическая книга афроамериканского исламского духовного лидера и борца за права человека М. Икса.

⁶² Элдридж Кливер (1935–1998) – видный лидер американской радикальной группировки «Черная пантера», автор популярных книг.

не знаешь, куда и зачем, то тем более есть основание туда отправиться? В семьдесят первом уехать из Миннесоты быстро у меня не получилось.

«Каждый ямаец умеет петь, и каждый ямаец учился петь по одному и тому же песеннику. Имя ему Марти Роббинс с его «Балладами ганфайтера». Схватите за воротник любого, даже самого завязного руди, скажите ему «Эль-Пасо», и он тут же вполголоса затянет: «Эль-Пасо горо-од, на Рио-Гранде-е...» Это альфа и омега ямайского языка пистолетов, где всё, что вообще нужно знать о войне “оранжевых” и “зеленых” в Кингстоне; всё, что следует знать о рудбое со стволом, происходит не из лирики Боба Марли или Питера Тоша, а из роббинсовского “Большого железа”:

*Он беглец от закона, что сам по себе,
И тревожный шепот идет,
Что Большое Железо он несет на бедре
И с кем-то он счета сведет.*

Такова история ганфайтеров дикого, необузданного Западного Кингстона. Вестерну нужен герой в белой шляпе и негодяй в черной, хотя, по правде говоря, мудрость гетто близка к тому, что сказал Пол Маккартни о пинкфлойдовском альбоме «Dark Side of the Moon»: «Нет никакой темной стороны Луны. Она вся темная». Каждый ямайский «саффера»⁶³ – бездомный ковбой, а у каждой улицы есть своя битва на пистолетах, вписанная кровью в какую-нибудь песнь. Проведите один день в Западном Кингстоне, и вы убедитесь, что кто-нибудь из головорезов повидней именуется не иначе как Джоси Уэйлсом⁶⁴. И дело здесь даже не в противопоставлении себя закону. Суть в присвоении мифа, в переложении его на себя, подобно тому, как певец регги накладывает новые слова на существующую старую мелодию. И как вестерну необходима своя Перестрелка у корраля О-Кей, так Перестрелка у корраля О-Кей нуждается в своем Додж-Сити⁶⁵. Кингстон, где трупы порой сыплются, как листья с деревьев, вписывается в это мифотворчество от и до. Ходит молва, что в центре здесь царит такое беззаконие, что даже премьер-министр уже несколько лет как не заезжает за черту Кроссрудс, и даже этот перекресток то и дело переходит из рук в руки. Во многом потому, что, смею вас заверить, стоит белому гладкоречивому премьеру подпустить в своих речах что-нибудь насчет «демократического социализма», как в считанные дни Ямайку вдруг наводняют крепко сбитые американские мужчины в костюмах, все, как один, с фамилией Смит или вроде того. Даже я могу чувствовать запах «холодной войны», а ведь это даже не Карибский кризис. Местные или улетают из страны, или рискуют заполучить пулю. Впечатление такое, будто вся эта страна – сплошной Додж-Сити, из которого нужно валить».

Вот так, пожалуй, лучше. Старайся не быть Охотником, старайся не быть Охотником. К черту Томпсона и к черту «Битс». Моей истории нужна канва повествования. Ей нужны герой, негодяй и вещая Кассандра. Есть ощущение, что она, история, плавно движется к кульминации, развязке и катастрофе (хотелось бы, чтобы последняя уже без меня). В «Майами и осаде Чикаго» Норман Мейлер⁶⁶ ввел в канву повествования самого себя и, назвавшись членом команды секьюрити, через гребаного «Бонзо» Рональда Рейгана проник на банкет

⁶³ От *англ.* sufferer – страдалец.

⁶⁴ «Джоси Уэйлс – человек вне закона» – кинофильм в стиле вестерн, реж. К. Иствуд.

⁶⁵ Перестрелка у корраля О-Кей – одно из самых известных вооруженных столкновений в истории Дикого Запада; Додж-Сити – город на западе шт. Канзас; является одним из символов эпохи Дикого Запада.

⁶⁶ Норман Кингсли Мейлер (1923–2007) – американский писатель, журналист, драматург, сценарист, кинорежиссер.

республиканцев, куда бы его иначе и на дух не подпустили. Ну да это так, к слову. Мысли вслух.

На протяжении всего одной недели Певец встречается с несколькими главарями враждующих группировок. По информации от моего стукача с философским уклоном, с пристани исчезает партия оружия, которой в описи поставки не значилось. Через две недели здесь выборы. О Марке Лэнсинге я не хочу даже заикаться. В настоящее время вся Ямайка кажется застывшей в азарте ожидания. Возможно, чего мне действительно не мешало бы знать, так это для чего Уильям Адлер несколько месяцев назад навещался на Ямайку; что он такое знает и как Певец, народ и, черт возьми, страна просуществуют две оставшихся до выборов недели. Ну, а потом я закончу этот гребаный материал и пошлю его в «Тайм», или «Ньюсуик», или в «Нью-Йоркер», потому что «Роллинг стоун» – да ну его нах. Потому что я в курсе, что он знает. Нутром, блин, чую. Он обязательно должен быть в курсе.

Папа Ло

Они думают, что мой ум – корабль, который все уплывает и уплывает. Кое-кого из тех людей я вижу в своей округе. Посматриваю на них краешком глаза. После того как я помог им вырасти, они думают, что теперь я им мешаю, торчу камнем на дороге. Принимают меня уже за старика и думают, что я не подмечаю, как обрывается предложение, конец которого мне уже не предназначен. Не замечаю, что в гетто протягивают «воздушку» для разговоров, но не со мной. Не замечаю, что меня перестают теревить разговорами и просьбами. Перестают спрашивать разрешения.

В гетто человек делает шаг к власти, когда в другую сторону начинает дуть политикан. Похоже, идет слух, что мне больше не нравится вид крови. Два года назад за одну неделю со мной случилось две вещи. Сперва я подстрелил в Джунглях одного паренька-школяра. До меня дошло, что кое-какая пацанва там опять норовит отбиться от рук: торгует без спроса травой, гуляет с кем-то из молодняка от ННП так, будто они чокнулись меж собой за мировую. И вот мы стрельнули там одного руди, чтобы другим неповадно было, а он даже не был одет в хаки – то есть считал себя круче других, как какой-нибудь отмороженный *бригадиста* с Кубы. Он в это время как раз топал в Арденнскую среднюю школу. Руди упал сначала на колено, затем на бок, завалился на спину, и только тут я разглядел на нем школьный галстук.

Я уж не помню, сколько человек пало от моей руки, да это меня особо и не волнует, но с этим вышло как-то по-другому. Одно дело, когда убиваешь и он просто труп. Другое – когда ты стреляешь вблизи, а он за тебя хватается и ты видишь, как он на тебя смотрит: глаза страшные. Смерть сама по себе самое страшное чудовище; страшнее, чем когда ты представляешь ее в детстве. И ты можешь чувствовать ее, как демона, который медленно тебя заглатывает своим огромным зевом, – сначала ступни, и они холодеют, затем лодыжки, и они занемевают, затем колени, бедра, поясницу; и вот этот паренек хватается за рубашку и рыдает: «Нет, нет, не-ет! Вот она идет ко мне, не-ет!» И стискивает, крепко так, крепче, чем он хватался за что-либо до этого, потому что когда человек вкладывает всю свою силу, всю волю в эти свои десять пальцев на живом существе, то это он как бы хватается за жизнь, чтоб за нее удержаться, не выпустить. И вдыхает так, будто всасывает целый мир, и больше всего боится выдохнуть, потому как если выдохнет, то может так выдохнуть и всю свою оставшуюся жизнь. «Да ты стрельни в него еще», – говорит мне Джоси Уэйлс, но я могу только смотреть. Джоси тогда подошел, приставил ему ко лбу ствол – и *бац*.

От этого новый ропот. Все знают, что Папа Ло строг, особенно если кто украл или изнасиловал, но никто до этого не звал меня злобным. А теперь вот мать того паренька добралась до самого моего дома и давай голосить под окном, какой сын у нее был хороший мальчик, как любил свою мать, ходил в школу, где сдал уже на аттестат по шести предметам и собирался подавать на стипендию в университет. И что, мол, Господь все видит и уж он-то придумает особую кару такому ниггеру-гитлеру, как я. Вопит и причитает по своему сынку, призывает в помощь Иисуса – тут Джоси Уэйлс подошел, шмяк ей по затылку рукояткой пистолета и оставил лежать у дороги; только юбку ей парусом вздымает, когда задует ветер.

Как-то Певец меня спросил: «Папа, как же ты мог добраться до верха и стать главным, когда вот так обо всем переживаешь?» Я не стал ему говорить, что быть на самом верху – оно и значит переживать. Когда забираешься на вершину горы, весь мир может взять там тебя на прицел. Я знаю, Певец в курсе, что многим он не по нраву, но могу лишь гадать, знает ли он, какую форму принимает та ненависть. У каждого человека есть что сказать, но только настоящие ненавистники чернее, чем он. Один туз из судейских сказал: «Я-де прочитал все написанное Элдриджем Кливером, подался учиться, и теперь у меня видная, язвы ее, степень; но этот-то? Полубелый сурипопик, а гляди-ка, стал нынче голосом черного освобождения. Это

он, что ли, и есть первая публичная фигура Ямайки?» Другой туз, только что вернувшийся из Нью-Йорка с Майами, ворчал, какой это громадный общественный урон для страны, просто пощечина. А все из-за непомерного пиара. На таможне его дважды спрашивали, не играет ли он регги и что это у него за запах от чемодана, не травка ли? Еще одна шишка, что владеет отелем на северном побережье, рассказывает, как одна белая сука с бокалом дайкири – соломинка с зонтиком – спросила, как часто он моет волосы и все ли ямайцы растаманы, хотя видит, гадюка, что волосы у него в порядке и что он причесывает их каждый день. А потом оставила у него на столе полсотни баксов и ключ от своего номера. Как-то раз я сказал Певцу: «Не чувствую на твоей стороне силу духа; уж слишком много против тебя темных сил построилось, да еще с такой силищей, что одному вряд ли и совладать». А он мне: «Нет у дьявола надо мной силы. Приди он хоть сейчас, мы бы с ним поручкались. У дьявола для игры своя роль. Он ведь тоже хороший друг и размазать тебя может лишь тогда, если ты его хорошенько не знаешь». Ну а я ему: «Брат, ты прямо как Робин Гуд». А он: «Только я в своей жизни никого не обобрал». «Так ведь и Робин Гуд тоже», – говорю.

Только злые силы и духи поднимаются в ночи. Певец сметлив: дружит со мной и одновременно с Шотта Шерифом. Перетирает со мной и с Шоттой, не вместе, что было бы безумием, но перетирает и с ним и со мной примерно об одном и том же. «Если вместе живут кошка с собакой, то почему не можем возлюбить друг друга мы? Разве не так угодно Джа?» – «Жить-то живут, – говорю ему я, – но не по своей воле». А потом подумал как следует и рассудил так: «Когда собака убивает кошку или кошка собаку, то радуется этому только гриф. Он этого по жизни только и ждет. Гриф-индейка – с красной головой, белыми перьями на груди и черными крыльями. Гриф-индейка в парламенте Ямайки. Грифы-индейки в элитном гольф-клубе, что заманивают тебя на свои вечеринки, потому как ты теперь вырос так, что от тебя не отмахнуться, и суют тебе жареную свинину в лицо, и говорят, что они думают устроить что-нибудь в духе регги, как будто это какой-нибудь твист, и спрашивают, а не знаком ли ты еще и с настоящей звездой, вроде Энгельберта Хампердинка?⁶⁷»

И все же злые силы и духи поднимаются в ночи. Особенно такой вот жаркой ночью, слишком душной для декабря, когда кому-то в голову приходят размышления насчет того, кому что причитается или нет. Я на веранде, с погашенным светом. Смотрю из своего дома: дорога пустая, только соул для влюбленных доносится из бара внизу по дороге. И постукивание – раз, и два, и три, и радостные возгласы: кто-то обставил кого-то в домино. Я вижу покой, слышу покой и знаю, что долго ему не продлиться. Ни для меня, ни для него, ни для Кингстона, ни для Ямайки.

Вот уже три месяца в гетто навешиваются двое белых вместе с Питером Нэссером. Один говорит только на английском, другой по большей части на испанском. Они приезжают встречаться с Джоси Уэйлсом, не со мной. Можешь быть хоть дважды главным, но когда политики затевают новое знакомство, то именно к нему они и тяготеют. Интересно, что им говорит Джоси на то, чего они хотят от меня; что он собирается для них сделать. Джоси сам по себе, я никогда им не помыкал, ни тогда, ни сейчас, с самого падения Балаклавы. Копенгаген – это дворец с четырьмя или пятью принцами. Королем прежде не хотел быть никто. Но когда эти двое новых белых приезжают в гетто, то они приходят ко мне в дом, чтобы выразить респект, а уходят с Джоси Уэйлсом, и на пяточке, где, я ожидаю, он с ними распрощается, он садится к ним в машину и ничего не говорит о том, когда вернется.

В половине седьмого Джоси идет проводить свою женщину, а из ее дома выходит в новом куртаке и штанах, которые она принесла из свободной зоны. Потом он уходит. Я ему не мать и не сторож, он не обязан отчитываться мне, куда идет. Вот так же он уезжал и в ту

⁶⁷ Энгельберт Хампердинк (*наст.* Арнольд Джордж Дорси, р. 1936) – популярный британский эстрадный певец.

ночь, когда с пристани пропал груз оружия. Человек в Америке поет «дадим миру шанс»⁶⁸, но он не американец, живущий здесь. Я думаю, я знаю: Джоси наверняка созывает людей, чтобы раз и навсегда покончить с Ремой. Он не знает, что мне известно: это он спалил ту квартиру на Орандж-стрит вместе с людьми, а тех, кто пытался их вытащить, перестрелял, не пощадив и двух пожарников.

Тысяча девятьсот шестьдесят шестой... Никто из тех, кто вошел в тот год, не вышел из него прежним. Падение Балаклавы унесло многих, даже тех, кто его поддерживал. Поддерживал и я, и не словом, а делом. Балаклава была куском дерьма, где богатством считалось уже житье в многоквартирной халупе. Здесь женщины, которым удавалось избежать ножа и пули, ограбления и изнасилования, погибали затем в очереди на колонку. Балаклаву сгребли бульдозерами и закатали катками, чтобы там смог подняться Копенгаген, а когда вслед за бульдозерами пришли со своими обещаниями политики, они первым делом потребовали, чтобы мы выжили отсюда всех, кто за ННП. До шестьдесят шестого года люди из Денхемтауна и Джунглей тоже меж собой особо не ладили, но дрались в основном на футбольном поле или крикетной площадке, а пацанва меж собой ежели и схлестывалась, то дело ограничивалось синяками и разбитыми сопатками; войны или даже молвы о ней не было. Но вот за дело взялись политиканы. Мы их встретили приветливо – ну а как же, ведь лучшее должно было настать и для нас.

Шестьдесят шестой... Все это происходит в субботний день. Джоси возвращается к себе во двор из мастерской мистера Миллера, где учится на слесаря. Идет домой по улице, которая никогда еще не делилась по цветам. Он не знает, что в прошлую пятницу здесь прошли политиканы, дав распоряжение: заткнуть рты и стрелять чужих. В Джоси выстрелили пять раз. На пятый он упал вниз лицом, прямо в лужу с поганой водой. Крики, беготня. А те, кто не кричит и не бежит, смотрят и ждут. Потом подъехал кто-то на велике, поднял его, усадил впереди себя на раму, чтоб не упал, и покатыл в медпункт. Из того медпункта через три недели вернулся уже другой человек.

Злые силы и духи поднимаются в ночи. Певец как-то рассказал мне историю. О том, когда регги еще мало кто знал; когда белая звезда рок-н-ролла водила с ним дружбу. «Вы, ребята от регги, такие провинциалы, просто прелесть какие неопытные... А ганджа у вас есть?» Но когда «модный дред»⁶⁹ стал выдавать хиты и все выше подниматься в чартах, отношение к нему у многих стало меняться. Он перестал их устраивать. Им было уютней видеть его бедным родственником, на которого приятно поглядывать сверху вниз. Я ему сказал, что политиканы так же напрягаются по отношению ко мне, когда узнают, что я умею читать. В шестьдесят шестом они разыграли меж собой Кингстон и поделили его, не спросив даже, какой ломтик нужен нам. И потому каждый кусок земли, что прилегает к границе – Рема, Джунгли, Роузтаун, Лизардтаун, – они кидают нам на драку-собаку, чтоб мы рвали его друг у друга зубами. Вот я и угрызал как мог, пока не начал уставать. Я взрастил людей, которые сейчас идут за Джоси Уэйлсом, и вот оказывается, что хуже меня здесь никого нет. Я расширил Копенгаген вдвое против прежнего, искоренял в нем воровство и изнасилования. В этом году у нас выборы, а в городе будто и нет ничего, кроме войны и слухов о ней. Но нынче я смотрю со своей веранды, как ночь вкрадчиво хранит под полой свой секрет. Веранда деревянная, ее давно пора бы покрасить. Моя женщина, слышу, храпит, как пнущая ослица, но человеку со временем начинает нравиться то небольшое, что никогда не меняется. Завтра сюда съедется кое-кто из молодых, поговорить об их собственном концерте за мир, потому как этот – сплошь пропаганда ННП. Ночь уже почти на исходе, а карательный взвод

⁶⁸ Речь идет о Джоне Ленноне и его песне «Дайте миру шанс».

⁶⁹ «Natty Dread» – альбом группы «Bob Marley and The Wailers» (1974); позже natty dreadlocks стали называть себя все растафари.

фараонов что-то все не появляется. И даже не слышно нигде. От этого ночь кажется странной: люди гетто не привычны ко сну, который ночью ничем не прерывается. Но где-то, как-то, с кого-то за все это взыщется. Особенно такой душной ночью, как эта.

Барри Дифлорио

– Пуль, а что ты сегодня ел на обед – опять вампира?

– А как же, милашка.

– Пуль, перестань меня так звать.

– Звать *как*?

– Милашкой. Я же не девчонка.

– Правда? То есть не имеешь девчачьих составных частей?

– Не-а. И значит, милашкой быть не могу.

– Ну так ты же *мой* милашка.

– Не-а. Мальчики не миласечные. Это девчонки такие. Они миласечные. И занудные.

С такой железной логикой спорить трудно. Сейчас я бы, пожалуй, мог написать целую статью о вещах, какие знал в шесть, но разучился знать в свои тридцать шесть.

– Занудные, говоришь? Подожди: когда тебе исполнится шестнадцать, ты захочешь крутить им хвосты чем чаще, тем больше.

– Им, хвосты?.. Ни за что.

– А вот «за что» или нет, это будет уже отдельная тема.

– Не-е-е-е.

– Да-а-а-а.

– Тогда, значит, они захотят играть и с моими лягушками?

– С лягушками не знаю, но насчет остального... все может быть. А теперь все, милый, младшеньким пора спать.

– Ну, пу-уль...

– Ах, извини, я подзабыл, что ты уже маленький мужчинка. И тем не менее не дави на психику. Всё, отсылаешься. Никаких «пуль». И ты, Тимми, тоже.

– Понял, пап. Оно хре... хрюново, конечно.

– Что?

– Да нет, пап, ничего.

– Вот и я подумал, что послышалось. В общем, идите укладываться, ребята. Хотя стоп: никто перед сном не поцелует своего пулю?

– Так мы ж уже большие.

– Я заметил. И не забудьте почистить зубы, оба.

Моя жена отправляется за ними следом.

– А ты куда же?

– Тоже чистить зубы. День был длинный. Хотя в Кингстоне что ни день, то непременно длинный, не так ли?

Подтекст я уловил. Удивительно, как женщины умеют использовать любую возможность завязать дискуссию, и особенно в моменты вроде этого, когда тебе не хочется дискутировать, но эта твоя неохота может быть истолкована как безучастность, точно так же, как ласковое слово или комплимент могут лечь в основу упрека, что ты проявляешь снисходительность, а это так или иначе распаляет костерок зреющего бытового конфликта.

– Я сейчас тоже подойду...

Начинает трезвонить телефон.

– ...через минуту.

Наверх жена уходит, бормоча что-то насчет «от звонков уже и дома нет житья». В самом деле странно, учитывая мой строгий запрет звонить мне на домашний – ни по работе, ни для радости общения.

– Слушаю.

– Ну, как там твоя имитация бурной деятельности? Причем даже не твоей, а этого педрилы Сэла Резника, которого ты заставляешь кропать гадости в «Нью-Йорк таймс»! Много денег освоил?

– Уильям Адлер? Билл, старина! Куда ты запропастился, язви тебя? В какую сторону хрен гнешь?

– Да все больше налево – во всяком случае, когда последний раз трусы надевал.

– Небось в тех местах, где ты пребываешь, тебе в питье какую-нибудь хрень подмешивают?

– В самом деле? И где же я, по-твоему?

– На какой-нибудь социалистической Утопии. Ну и как там, может свобода потягаться с лучшей в мире пина-коладой?

– Это что, намек на Кубу? Ты думаешь, я в самом деле там? Такая у тебя информация? Если да, Барри, то мое уважение к тебе проседает ниже плинтуса.

– Так где же ты?

– Ты даже не спрашиваешь, как я раздобыл твой телефон?

– Не-а.

– Только не делай вид, что тебя это не волнует.

– Дружок, мне пора рассказывать на ночь сказку моим ребятишкам. Эта наша свиданка ведет к чему-то доброму?

– Какое у тебя любимое место в цирке?

– Знаешь, чего я терпеть не могу, Билл? Людей, что отвечают вопросом на вопрос. Ямайцы, чтоб их, делают это постоянно.

– Тогда отследил мой звонок. Я подожду.

– Не строй из себя Мачу-Пикчу.

– Насчет «мачо» не знаю, а «пикча» у меня вполне адекватная.

– Ты меня изводишь, Билл. Чего ты хочешь? Наскрести какого-нибудь дерьма для Фиделя?

– Может быть. Только зачем мне для этого выходить на тебя? Доступа к стоящей информации у тебя нет со времен Монтевидео.

– Ну да. Ценные сведения нынче только у тебя.

– Вполне возможно. Жаль тех семерых, которых тебе в экстренном порядке пришлось усылать домой. В самом деле, Контора работает так, что то и дело врывается ногами в дерьмо. Непростительно.

– Ты подверг опасности людские жизни, сукин ты сын.

– Опасности – да. Десятимиллионный бюджет. Огромные деньги для такой мелкой страны, как Ямайка.

– Как там продажи книжки, растут?

– Не жалуюсь.

– В шорт-лист фантастики еще попала? Я тут посматриваю...

– Правильно, посматривай. Может, ума поднаберешься.

– На том спасибо. Этот наш диалог в стиле детективных сериалов – оно, конечно, приятно, но я в самом деле устал. Поэтому спрашиваю: чего ты хочешь?

– Несколько пунктов. Первый: ты или отзови долбоголов, которых поставил меня отслеживать, или назначь на их место кого-нибудь потолковей.

– Насколько мне известно, тебя никто не отслеживает. К тому же, если б я этим занимался, думаешь, я бы не знал о твоём местопребывании?

– Короче, отзывать. И не унижай меня такой откровенной халтурой. Кстати, тебе лучше послать подкрепление в Гуантанамо, чтобы забрать их, пока этого не сделали кубинцы. Где они сейчас, дознаться оставляю тебе. Теперь второе. Надеюсь, что вы там раздумаете вкати-

вать остаток тех десяти миллионов в ЛПЯ с целью избавить нас от коммунизма. Большинство той суммы поступает в виде оружия, остальное...

– Может, ты попутно затребуешь от меня установить мир на Ближнем Востоке?

– Бог ты мой, Барри, торчи уж в своем диапазоне таланта, он у тебя не безразмерный. И третье. Если ты полагаешь, что тем бандюганам, которых Луис учит стрелять, не хватит ума пристрелить и тебя, то ты наивный человек. А по иной причине Луис Джонсон на Ямайке не всплыл бы. Учти, дружок: отдача может быть охрененной.

– Ты шутишь? Да для них это все равно что обучающие игры для ребятни: «Моя первая пукалка».

– То есть все-таки реально обучаешь? Я точно не знал... Топорненько, Барри, даже для такого беспринципного шустряка, как ты. Обидно. Тем более что учился ты по моей книге.

– Не знаю, о чем ты. Что же до Луиса, то он сам по себе, а потому с него и спрашивай. Что ты завариваешь на этот раз? Удивительно, что тебя не отправили на повышение. Сидел бы сейчас на месте попрестижней, вроде Восточной Германии... Какой тайной операции ты от нас ждешь? В Анголе? Возможно, что-нибудь такое готовится в Никарагуа. А еще я слышал, что в Папуа – Новой Гвинее тоже зреет социалистический переворот, со дня на день.

– Брось. Ты даже не знаешь, что такое социализм. Будучи просто дрессированной обезьянкой, натасканной целиться и стрелять. Кстати, вспомнил: а что здесь подделывает сын Ричарда Лэнсинга? Пытается помочь вам нагадить папику?

– Не понимаю, о ком ты.

– Да брось ты, Барри. Это канал надежный, без прослушки, так что не дрейфь. Премьер-министр, делающий головняк Киссинджеру просто потому, что сидит на хрену у Кастро и готовится к своему переизбранию.

– Ты в этом уверен?

– Так же, как и насчет того, в какую именно школу ходят твои детишки.

– Билл, не занимайся херней...

– Херню, Барри, оставим за скобками. Повторяю еще раз: премьер, малость не догоняющий, что втягивается в «холодную войну», всерьез рассчитывает на переизбрание. Организует концерт, в котором собирается принять участие крупнейшая в мире звезда, по своему несчастью, ямайского происхождения. И вот среди всех на свете, кто прибывает все это снимать, оказывается собственноручный сын Ричарда Лэнсинга. Я не поклонник ни того ни другого, но согласись: как-то очень уж гладко все стыкуется.

– Хорошую ты придумал теорию заговора. А кто же сидел на бугре? Или ты кое о чем забыл?

– О чем же?

– О том, что Лэнсинг вышел в отставку. И что во многом он лишь более образцовая версия тебя самого. У вас обоих случился внезапный приступ совести, как у либерала-школяра.

– Я думал, что служу своей стране.

– Нет. Ты думал, что служишь идее. Но знать не желал, как на самом деле действует страна, даже при наличии письменных инструкций.

– Пытаешься развить это в классовые дебаты, Барри? Как это социалистически с твоей стороны.

– Ничего развивать я не пытаюсь. Просто хочу лечь спать. А вместо этого вишу на телефоне не то с человеком без страны, не то с человеком без идей.

– Удивляюсь, как ты и тебе подобные могут рассуждать об идеях. Социализм – это тебе не гребаный коммунизм.

– Все равно это «изм», как ни крути. Извечная твоя проблема, Билл, в том, что ты полагаешь, будто тебя наняли думать. Или что кому-то есть дело до того, что ты думаешь.

– Многим ямайцам было не все равно.

– Да я уже был здесь на момент твоего двухнедельного визита в июне, припоминаешь? Политика ЦРУ ямайцам абсолютно побоку; они даже не улавливают разницы между ЦРУ и ФБР. Многие ямайцы посходили с ума из-за белого человека, столкнувшего их друг с другом. Тогда и появились уличные банды из местных, хотя даже их вины в этом нет: это все махинации коварных бледнолицых. Дай мне, твою мать, вздохнуть спокойно. Ты, кстати, не разговаривал недавно с Нэнси Уэлч?

– О чем это мне с ней разговаривать?

– О чем? Да хоть о своей провинности. Мог бы обмолвиться: Нэнси, как нехорошо было с моей стороны взять и порешить в Греции твоего брата с женой.

– Постой-постой. Ты, блин, что, думаешь, это я стоял за убийством Уэлчей?

– Ты и твой отчетец. Твой дрянной романишко.

– Про него в книге не сказано ни слова, идиотина.

– Если б я его читал.

– Так, значит, ты считаешь, что это я виновен в гибели Уэлча? Я ценил тебя незаслуженно, Барри. Думал, что Контора доверяла тебе больше информации, чем та, которую ты, я вижу, получал. Должно быть, я разговариваю не с тем человеком.

– Неужели? В этом плане ты не единственный, кто судит верно.

– Луис Джонсон сейчас в Западном Кингстоне обучает юных террористов пользоваться автоматическим оружием. Тем самым, что никогда не прибывало в кингстонский порт, так что его никто и не воровал.

– У тебя есть тому доказательства?

– Единственным человеком, что прибежал к услугам Луиса, был я в Чили. По любой другой причине он бы не появился в стране. Ни он, ни Брайан Харрис, или как там еще кличет себя нынче Оливер Пэттон. Вы, ребята, никогда не предчувствуете отдачи, пока она не шибает вам в морду. Хреновы зазнайки из «Лиги плюща», которые с людьми отродясь не работали. Еще один вопрос: за каким хером вы установили слежку еще и за Певцом? Он-то вам каким боком?

– Спокойной ночи, Билл. Или как там: *hasta macana, luego*⁷⁰ и иже с ним.

– Нет, в самом деле, что он может такого...

– Сучара, не перезванивай сюда больше!

– Что это еще за сучара тебе звонила? – спрашивает голос жены.

Я не слышал, как она вошла, и не знаю, как долго она уже здесь. Она усаживается на кушетку, за которой стою я, и сидит, не оглядываясь и ничего не говоря, но ожидая ответа. Я выдергиваю из розетки телефонный шнур и подхожу к бару, где меня ждут полбутылки «Смирнофф» и бутылка тоника.

– Выпить хочешь?

– Только что зубы почистила.

– То есть «нет».

– Судя по всему, ты хочешь продолжить со мной драчку.

Она растирает себе шею и снимает кулон. Если б на Ямайке не стояла такая жара, она никогда не подстригала бы волосы выше шеи. Ее шеи я не видел уже бог весть сколько, и меня тянет ее поцеловать. Забавно, что ей ужас как не нравится здесь находиться, и до Ямайки я ужас как боялся, что она сделается женщиной, которую я буду не переносить; такой, которая не чувствует, что ей нужно следить за собой. Не сказать, чтобы она когда-либо была непривлекательна или я когда-либо пожалел, что женился на ней, или обманывал ее как женщину, даже в Бразилии, но не так давно я прикидывал, не расстаться ли нам, просто для того, чтобы увидеть, вынудит ли ее это снова начать пользоваться помадой. Страну эту

⁷⁰ До завтра, впоследствии (исп.).

она поносит каждый день, каждую минуту и уж всяко каждые две, но тем не менее носит приталенные рубашки, стрижет волосы под пажа, а загар у нее, как у наследницы из Флориды. Может, она с кем-нибудь трахается. Я слышал, что Певец до баб большой охотник.

– Дети спят?

– Во всяком случае, притворяются.

– Ха-ха.

Я сажусь рядом. Вот ведь что примечательно в рыжих, не так ли? Неважно, сколько вы с ними живете, но всегда испытываете удивление, когда они поворачиваются и смотрят на вас в упор.

– Ты подстриглась.

– Жара здесь невыносимая.

– Тебе идет.

– Они отрастают. Я уже стриглась две недели назад.

– Может, мне подняться наверх и укрыть их?

– Барри, на улице под тридцать.

– А и вправду.

– Хотя стоит декабрь.

– Я знаю.

– Тысяча девятьсот семьдесят шестого года, Барри.

– И это мне известно.

– Ты говорил, мы пробудем здесь с год или того меньше.

– Крошка, прошу тебя: я не могу сносить два нападения на протяжении двух минут.

– Я на тебя не нападаю. Даже наоборот, почти ничего не говорю.

– Если мы уедем...

– *Если* уедем? Барри, какого черта: с каких это пор ты стал говорить «если»?

– Извини. Когда мы уедем, ты будешь счастлива где-нибудь, кроме Вермонта? Может, мне придется уйти в отставку, и жить нам тогда на твою зарплату.

– Прикольно. Я на тебя не нападаю. Просто напоминаю, что год – это двенадцать месяцев, а сейчас как раз двенадцатый.

– Дети будут скучать по своим друзьям.

– У них здесь нет друзей. Барри?

– Да, милая.

– Не переоценивай количество вариантов, которые, по-твоему, у тебя есть.

– Ты понятия не имеешь, как мне опостылело это чертово слово.

Она не пытается переспросить, какое слово я имею в виду, предпочитая, чтобы ее фраза подвисла дамокловым мечом. Работа? Брак? Она не конкретизирует, поскольку, если б она это сделала, это смягчило бы угрозу. Что она имеет в виду, мог бы спросить я, и тогда она (1) станет разъяснять мне как тормозному, размеренно и веско, или (2) использует его как способ навязать дискуссию. Не знаю, как она представляет себе поворот нашей жизни в дальнейшем, но меня уже притомило объяснять ей, будто я какой-нибудь телеведущий, пытающийся втюхать аудитории содержание предыдущих серий. И так из раза в раз. Ежеженедельно. В предыдущей серии наш прежний герой Барри Дифлорио – отважный, удалой, обаятельный и слегка подвисший – повез свою супругу в бетонные джунгли Ямайки, с миссией солнца, моря, секса и секретов. Барри Дифлорио находился на работе, а его жена...

– Прекрати.

– Прекрати *что*?

– Бубнить то, о чем ты думаешь. Ты даже этого не ловишь.

– А о чем я сейчас думаю?

– Оййй. Мало было хлопот растить троих детей в Вермонте.

До меня не сразу доходит, что она говорит *троих*.

— Ты такая привлекательная, когда сердишься, — говорю я, предвкушая, как она сверкнет на меня взглядом. Только она не сверкает. Она не смотрит на меня вообще, сидящего рядом, пытающегося ухватить ее руку. Я думаю повторить попытку, но не решаюсь.

Нина Берджесс

Мимо проехал 42-й автобус и даже не остановился – настолько, видно, спешил домой, пока не превратился обратно в тыкву. Правда, времени было еще только шесть часов. Комендантский час начинается с семи, но здесь престижный район, и вокруг нет полиции, чтобы блюсти его со всей строгостью. Не представляю, чтобы они остановили «Мерседес»: пассажиром или водителем в нем может оказаться член кабинета министров. Последним из транспорта, идущего в даунтаун, оказался мини-вэн с логотипом отеля («*Айри Айтс*» – синими, красными и золотистыми буквами). Курсировали и автобусы покрупнее, зеленые «йосы» правительства, а еще мелкие маршрутные «жучки», в которые влезаешь согнувшись и всю дорогу стоишь враскоряку. Эти держали путь в основном на Булл-Бэй, Бафф-Бэй или еще какой-нибудь «бэй» – курортные зоны, символ страны. «Айри Айтс» проехал мимо в шесть вечера. Последняя басовая нота донеслась до меня без четверти одиннадцать. Сейчас была четверть двенадцатого.

Автобусы продолжали проезжать, а я – в них не садиться. Сделали остановку и две машины – оба промышляющие нелегальным извозом частники, и в обеих спереди двое, а сзади четверо, в их числе мужик с баксовой купюрой меж пальцами, крикнувший: «Детка, хошь, подброшу в Испанский квартал?» Мне сначала подумалось, что это одна и та же машина. Оба раза я отходила на несколько шагов и смотрела мимо на дорогу – по времени ровно столько, чтобы машина отъехала, – после чего возвращалась обратно.

Вот оно, свершилось: я тронулась умом. Яркий признак двинутости – ждать за воротами в надежде, что какой-то мужчина вспомнит про то, что у него был с тобой секс и что ты запомнилась ему больше всех женщин, с которыми он занимался сексом (может, даже в эту самую минуту). И что если он запомнил этот секс, то может, задействует свои рычаги, чтобы вывезти мою семью из этой страны, да еще и желательно оплатит этот вывоз. Хотя все это представлялось куда более осмысленным в семь утра, после того как я увидела своего отца, который бодрился, будто он моложе, чем есть на самом деле, во избежание чувства, что старей его нет на свете. Может, мою мать тоже не насиловали, а просто побили или воткнули ей между ног какой-нибудь предмет, заставив отца на это смотреть. Сказали ей: «Нет, калоша, для траханья ты слишком стара, скоро тебе к святым угодникам – может, кто-нибудь из них на тебя позарится». А может, все это от того, что скоро полночь, а я торчу дура душой на своих дебильных высоких каблуках, и мои ноги доканывают меня, потому что я весь день приканчивала их. И все, что я могу, это слушать и слышать, как ум у меня становится набекрень. Этот гад хоть бы раз вышел – *вообще* ни разу. А может, я ошибаюсь? Может, я ему запомнилась так неизгладимо, что он, увидев меня из окна, дал указание эту девицу не впускать. Была ли я подстилкой неважнецкой или, наоборот, слишком хорошей, но что-то во мне внушило ему: «Парень, оставайся-ка лучше внутри и не связывайся с этой, как ее, Ниной Берджесс». Может, он даже запомнил меня по имени. А может, нет. Каблуки мои и ступни припорошены пылью.

К третьему часу ночи боль от ступней перешла в голени, затем в колени – ощущение отрадное хотя бы тем, что боль разделяется по частям. На какое-то время теряешь всякое ощущение боли, пока до тебя не доходит – примерно через час, – что это ощущение никуда не девается. Оно просто распространилось, и теперь саднит все твоё тело. Может, я и не безумная, а просто оторва. Наверное, это поняли две женщины, прошедшие мимо с час назад. Я их увидела еще бог знает за сколько – может, за милю – вверх по дороге, когда они были еще лишь светлыми движущимися пятнышками; а вот они уже шли в каких-то двадцати футах от меня, две темнокожих женщины в белых церковных платьях и головных уборах.

– Истинно тебе говорю, Мэвис: нет такого оружия, которое преуспело бы против Господа нашего Иисуса Христа, – говорила та из них, что слева.

Завидев меня, обе они одновременно притихли. Они еще даже не дождались, пока пройдут мимо, когда одна из них стала что-то нашептывать другой. Было десять вечера. И я знала, о чем они шепчутся.

– Я за двадцатку трахаюсь с вашими мужиками, – говорю я. Они ускоряют шаг, спеша настолько, что левая запинаяется и чуть не падает.

После этого мимо меня никто не проходил. Хоуп-роуд не сказать, чтобы погрузилась в сон. Позади меня апартаменты, впереди его дом – везде горят огни. Люди не засыпают, они просто отсекают себя от дороги. Как будто весь город поворачивается к тебе спиной, вроде тех церковниц. Я представляю, что я шлюха, прыгающая в последний «вольвеныш» или «мерс», который едет вверх по Хоуп-роуд, скажем, в Айриштаун. Бизнесмен или дипломат, что живет в Нью-Кингстоне, сможет меня отделать, потому что это сойдет ему с рук. Если вот так стоять под оранжевым светом фонарей и задрать себе юбку так, чтобы засветилась мохнатка, то кто-нибудь наверняка остановится. Мне хочется есть, а еще по-маленькому. Свет наверху в его комнате только что погас. Тем вечером, когда меня привела туда Кимми и ушла, спать с ним я не планировала. Я хотела видеть его обнаженным, но не так. Я слышала, что по утрам он поднимается в пять, едет в Булл-Бэй и купается в водопаде. В этом было что-то святое и вместе с тем сексуальное. Я представляла, как он выходит из-под струй водопада обнаженный, поскольку час еще ранний. Представляла, что эти струи – самая печальная вещь на свете, потому что рано или поздно им суждено соскользнуть с его тела. А когда увидела, как он, обнаженный, стоит на балконе и ест фрукт, то подумала, что печалится и луна, зная, что он скоро уйдет с балкона в дом. Мысль лишь распаляет воображение. Я не думала. Мысль удержала бы меня от того, чтобы выйти к нему на балкон. Не дала бы раздеться: вдруг бы он, обнаженный, завидев меня, одетую, смутился. Как будто б у него во всем теле была хоть клеточка застенчивости. Он сказал *«я тебя помню»*, что, возможно, было правдой. Женщинам, похоже, льстит, когда их помнят. Или, может, он просто знает, как заставить женщину почувствовать, что по ней будто бы скучали.

После того как музыка прекратилась, кое-кто отправился из дома на выход. Впервые за все время открылись ворота. Выехала пара машин, один джип, но не его пикап. Получается, он по-прежнему находился внутри, а с ним и половина его ансамбля. Хотелось сейчас скинуть туфли, рвануть со всех ног так, чтобы секьюрити не успели меня поймать, пока я не окажусь внутри. Затем меня, конечно, схватят, но увидят, что я «шоколадка», и выпустят, а я выкрикну его имя, и он сойдет вниз. Но я так и осталась по эту сторону дороги, под светом фонарей у остановки. Только что погас свет в комнате справа. Мой отец все продолжает твердить, что никто не прогонит его из его страны. А за несколько месяцев до нападения он, помнится, усадил меня на кухне и зачитал мне статью из «Глинера». Я тогда зашла попроведать родителей и не думала задерживаться надолго, но отец меня не отпустил. Дать прочесть мне статью самостоятельно он не дал, а хотел, чтобы она исходила как бы от него. Статья называлась «Если он потерпит крах». Он, то есть премьер-министр. «Папа, она же еще январская, – сказала я отцу. – И ты все это время за это старье цепляешься?» Мать тогда сказала, что он перечитывает ее каждую неделю. Получается, до этого дня уже сорок семь раз. Гаснет свет в нижней комнате слева. Вовсю идет комендантский час, и мне здесь находиться не положено. Если рядом остановится полицейская машина, сказать будет нечего. Никаких объяснений, зачем я здесь стою.

Когда он читал мне ту статью, дома была Кимми. Для нее она звучала уже повторно, и сестра не собиралась сидеть и выслушивать всю эту фигню о заговорах ЦРУ. Во всяком случае, если чтение не будет сопровождаться ее цыканьем, зевками и досадливыми стонами, как будто она шестилетка, которой приходится пережидать с предками церковную службу.

«Все это чисто тупо пропаганда ЛПЯ, – сказала она, не успев отец дочитать. – Пропаганда правых и полный отстой. Как мог такое написать председатель ЛПЯ – он что, журналист? Это все обыкновенный политпроп и пустой треп. Кто в это поверит – всеобщее бесплатное образование, включая высшее! Равные права для женщин! А вот это вы видали? А насчет всех этих бокситных компаний, которые по крайней мере положат нам зарплату, прежде чем иметь нас по полной программе?» Мать сверкнула на нее своим характерным взглядом: «Я разве *так* вас воспитывала?»

Лично же я втайне была счастлива, что Кимми не заявила сюда с Расом Трентом, басистом из «Африкэн хербсмен», больше известным как сын министра туризма. Мать называла его «ухажер», а их с Кимми – «пара, петух да гагара», хотя сам он в глаза именовал Кимми «Принцессой Вавилонской своей расы». Несмотря на то что ухажер был министерским сыном, ему исполнилось тридцать, прежде чем ему наконец позволили посещать все комнаты в четырех домах его папаши. Но Кимми нуждалась в своем ухажере, который мог в ее глазах крушить идолища, воздвигнутые отцом, а она, в свою очередь, – водружать ухажера на божницу как своего нового папика (как я однажды сказала, «Че Гевара мертв»). Мама, которая никогда не встает в споре ни на чью сторону и уж тем более не озвучивает этого вслух, сказала, что подумывает, а не обзавестись ли нам национальной гвардией? Это ведь сказал сам премьер-министр: учитывая взметнувшийся уровень преступности, бремя обеспечения безопасности народу придется взвалить на свои плечи. Мы трое – отец, сестра и я – никогда ни в чем меж собой не сходимся, но тут мы дружно уставились на мать, как на сумасшедшую (собственно, это и были ее слова: «Что вы все воззрились на меня как на умалишенную?»). Отец вознегодовал, что ни за что не отдаст свою страну под надзор тон-тон-макутов.

Он спросил, что думаю я. Кимми глянула на меня так, будто вся наша дружба теперь зависит от того, что сорвется с моих губ. Когда же я сказала, что не думаю ничего, они оба разочаровались. Я предпочитаю помнить, а не думать. Если я думаю, то рано или поздно начинаю задавать себе вопросы вроде тех, зачем я с ним переспала и почему убежала, когда это закончилось, или почему я сейчас здесь и почему простояла тут весь день. И какой вывод можно сделать из того, что я могу весь день проводить за ничегонеделанием. Не значит ли это, что я одна из так называемых «никчемных», то есть тех девушек, которые не служат никакой гребаной цели?

Суть стояния здесь весь день, самая пугающая ее часть, в том, насколько это легко. Мама у меня напевает: «*Надо жить одним днем, о мой милый Иисус*», и даже папа на это усмехается: «Жить одним днем... Вот это, я понимаю, жизненная стратегия!» И все-таки самый необременительный способ укрываться от жизни – это воспринимать жизнь именно так, одним днем. Именно так я открыла, что можно вообще ничего особо и не делать. Если, скажем, разбивать день на четверти, а четверти на часы, на полчаса, затем минуты, то можно любой отрезок времени размельчать до размеров одного жевка. Это все равно что справляться с утратой. Если ты смог продержаться одну минуту, то, значит, можешь проглотить и еще две, а затем пять, и еще пять, и так далее. Если я не хочу думать о своей жизни, то мне не нужно думать о жизни вообще – и просто побыть так с минуту, затем две, затем пять, затем еще пять, и вот не успеешь опомниться, как прошел уже месяц, а ты того и не замечаешь, потому что считаешь только минуты. Я стою напротив его дома, считая минуты и даже не сознавая, что мимо меня проплыл целехонький день. Вот так взял и удрал. Только что снова зажегся свет в крайней левой комнате сверху.

То, что мне следовало сказать – и я *хотела* это сделать, – это что меня волнует не преступность. В смысле, она волнует меня тоже, так же как и всех. Так же как инфляция: я ее не ощущаю физически, но знаю, что она задевает меня. Так и с преступностью: это не сама она заставляет меня хотеть уехать, а возможность того, что она может задеть меня в

любой момент, с минуты на минуту, даже в следующую секунду. Может, она меня вообще не затронет, но я все равно буду думать, что она накинется на меня в любую секунду, и так все следующие десять лет. Пусть этого никогда и не произойдет, но я-то все равно буду ее ждать, а ожидание это так же непереносимо, потому что на Ямайке тебе не остается ничего, кроме ожидания чего-то, что с тобой произойдет. Это же можно отнести и ко всему хорошему – в той части, что оно никогда не настает. Тебе его остается только ждать.

Ожидание. Этот гад даже не вышел на свою веранду. Ну а если и вышел бы, прямо сейчас, то что? Не знаю даже, смогла бы я двинуться. А тем более перебежать через улицу и крикнуть ему от ворот. Мои грязные ноги подсказывают, что я жду уже так долго, что теперь только и остается, что ждать. Единственный раз, когда я не ждала, это когда увидела его на заднем балконе. После этого я тоже не ждала. Думала сказать об этом Кимми. Она бы от меня этого не ожидала. Вот почему мне хотелось сказать ей, что мне удалось приблизиться к Че Геваре так, как вряд ли когда-либо удавалось ей, Принцессе Вавилонской.

Через дорогу, хотя и в полусотне футов от ворот, подъезжает и притормаживает машина. Белый спортивный автомобиль (я даже не заметила, как он подъехал). С моей стороны от какой-то стены отошел человек (я его тоже не замечала) и подошел к машине. Я прижала к себе сумочку, хотя он уже сел в машину. Не знаю, как долго он там находился, стоя у стены в темноте всего в нескольких футах от меня, и наблюдал. Я его не замечала и даже не слышала; он мог там находиться несколько часов и все это время смотреть, в том числе и за мной. Белый автомобиль повернул на дорожку к дому Певца и остановился у ворот. Я досконально уверена, что это «Датсун». Вышел наружу водитель – нельзя сказать, белый или темнокожий – в белом свитере. Он подошел к створке ворот – видимо, затем, чтобы поговорить с секьюрити. Когда он повернулся, чтобы идти обратно к машине, глаза его стеклянно блеснули. Очки. Я смотрю, как отъезжает машина.

Нет, все-таки нужно валить – не с Ямайки даже, а с этого места, причем немедленно. Дом на меня не смотрит, но смотрят тени, вверх и вниз по дороге, подвижные, как люди. Может быть, это мужчины. Их облик меняется, когда часы бьют одиннадцать, а где-то поблизости находится беззащитная женщина. Часть меня думает, что это все чушь и что я сама выискиваю источник для боязни. Учительница в старших классах в свое время предупреждала нас не рядиться в шлюх и все время страшиться изнасилования. А мы, помнится, левой рукой грифелем накорябали ей однажды записку и сунули в ящик стола. Записка провалялась там несколько месяцев, пока учительница случайно на нее не наткнулась. *«Как будто слепой тоже бросится кидать свою палчонку...»* – прочла она и осеклась, поняв, что читает вслух.

Бежать – понятие относительное. На высоких каблуках можно просто семенить, едва сгибая колени. Не знаю, как долго уже семеню я, но только слышу, как цокают мои туфли, а в голове клубятся смешливые мысли о том, какая я, наверное, дура и веду себя сейчас точь-в-точь как Крошка Вилли Винки из детских стишков:

Крошка Вилли Винки
Ходит и глядит:
Кто не снял ботинки,
Кто ещё не спит?

Стукнет вдруг в окошко
Или дунет в щель, —
Вилли Винки крошка
Лечь велит в постель.

Где ты, Вилли Винки?
Влезь-ка к нам в окно...⁷¹

Бли-ин! Надо же. Сломала, чтоб его, каблук. А ведь туфли не дешевка, куплены в личном магазине. Ж-ж-ж...

- Эт-то хто в такой час на нас бежит? Шоколадненькая даппи?
- Точно, да какая... Я б такой шоколадкой сам полакомился.
- Откуда вы к нам, деушка, вы там случайно преступления не совершили?
- Может, она с собой ствольяку притырила?

Полиция. Гребаные фараоны со своими гребаными фараоновскими голосами. Я, оказывается, добежала аж до пересечения с Ватерлоо-роуд. Слева, как дом с привидениями, маячит Девон-хаус. Светофор только что сменился на зеленый, но дорогу перегородили три полицейских машины. На машины лениво облокотились шестеро полисменов – у одних штаны с красным кантом, у других с синим.

- Уау, леди. А вы в курсе, что сейчас комендантский час?
- Я... Мне... Работала допоздна, офицер, счет времени потеряла.
- Вы не только времени счет потеряли. А у вас там чего – одна нога длинней другой или каблук отлетел?
- Что? Ах, чтоб его... Извините, офицер.
- Ха-ха-ха!

Все ржут. Фараоны, своими погаными фараоновскими голосами.

- А вы там видели хоть один автобус иль такси? Как вы домой-то попасть собирались?
- Я... я...
- Или вы пешком хотели дойти?
- Н-не знаю.
- Мисс, садитесь-ка в машину.
- Да я дойду.

Хочется сказать, чтобы они хоть речевые обороты подучили, но еще сочтут, что им грубят.

- Тах хде ваш дом, в соседнем квартале?
- В Хэйвендейле.
- Ха-ха-ха!

Фараоны, и смех у них фараоновский.

- Так туда до утра ничего не ходит. Вы пешком, что ль, хотели дойти?
- Ну а как еще.
- На одном каблуке?
- А что?
- В комендантский-то час? Вы чё, не знаете, какое в этот час дерьмо на улицу повылазило? Порядочным словом не назовешь. Или назвать?
- Да я просто...
- Короче. Ты просто идиотка или чё? Надо было на работе заночевать, пока автобусы ходить начнут. Садись в машину.
- Да мне надо...

– Марш, говорю, в машину, драть тебя некому. Оформляем правонарушение. Ты или домой попадаешь, или в каталажку.

Я сажусь в машину. Вперед усаживаются двое полисменов, а еще две машины с четырьмя фараонами остаются. На светофоре поворот направо ведет в Хэйвендейл.

⁷¹ Пер. И. Токмаковой.

Они поворачивают налево.

– Так короче, – говорят фараоны в один голос.

Демус

Это дом у моря. В нем только одна комната, и это даже не дом, но в нем в свое время жили. Человек, который закрывал дорогу, чтобы прошел поезд. По имени я его не знаю; знаю только, что в семьдесят втором году он умер, а вместо него никто не поступил. Поезд перестал ходить, когда Западный Кингстон превратился в Дикий Запад, а каждый человек в нем – в ковбоя. Я хотел стать Джимом Вестом, но у него штаны слишком уж в обтяжку⁷².

Телик в посудном магазине черно-белый, но я думаю, что те штаны на нем голубенькие, как у девок. Этот дом с одной комнатой, и человек, который здесь жил, спал на куске поролона, а нужду справлял в ведро, из которого все сливал в море. По имени его никто не помнит. Когда его тело нашли, кожу и мясо ему посмывало водой, но еще не до скелета. У этого дома два окна. Одно смотрит на море, одно – на рельсы. Когда перестал ходить поезд, люди в гетто пробовали растащить рельсы со шпалами, но не было оснастки, чтобы ворошить тяжести.

Комната в доме имеет цвет. Она раскрашена в пять цветов, все не до конца и налезает друг на дружку. От пола до низа окна красный. От низа окна до потолка зеленый. Вторая стена синяя, но краски до угла не хватило. Там начинается розовый и покрывает третью стену. На четвертой зеленый, что снизу стены, обрывается посерединке и как бы зазубрен, как будто человек мучился и пыжился, чтоб растянуть краску на подольше. Нелегко, должно быть, тому человеку было стареть без женщины. Про свой член он, наверное, вспоминал только при ссание и, отливая, печалился. А может, баловался с ним, как извращенец какой. В комнате есть один стул, красный, с изящными ножками. «Изящный» – слово из стиха, который мы учили в школе.

Череда – изящны стебли,
Золотистые цветы.
Росным бисером одета,
Словно в дреме млеешь ты⁷³.

Вот первая ошибка, которую совершил Бог. Время. Он создал его по глупости. Время – та штука, которая даже у него истекла. А вот я вне времени. Я живу «теперь», оно же «сейчас», а с ним почти ноздря в ноздю идет «затем». «Затем», оно же «скоро», а с ним почти равняется «если». В дом приходят двое, и семь переходит в девять. Один из Ремы, двое из Тренчтауна, трое из Копенгагена. Такой вот список тех, кто в комнате.

Джоси Уэйлс, также известный как Франклин Алоизий, а еще как Ба-бай, только что привел с собой Бам-Бама, который любит держать ствол, но не знает, куда стрелять.

Ревун – киллер фараонов, который рулит Вавилоном. Когда он говорит как ямаец, голос у него сиплый и злобный. А когда как белый, то будто читает книгу с большими словами. В Ревуне есть нечто, о чем никто, кто хочет жить, не заговаривает.

Хекль – он раньше ходил на пару с Джеклем, пока пуля нацпатриотов не перевела Джекля из «есть» в «был».

Рентон из Тренчтауна.

Матик, он тоже из Тренчтауна.

Цыпа – его колбасит от героиновой ломки, пока его не подлечишь коксом.

⁷² «Дикий, дикий Запад» – популярный американский телесериал 1960-х гг., главного героя в котором зовут Джим Вест.

⁷³ «Череда» – стихотворение К. Маккея (1890–1948), американского писателя ямайского происхождения.

Двое из Джунглей – один толстый, другой тощий, я его не знаю. Тощий вроде как и не парень, и даже не реальный пацан: рубаха сверху расстегнута, а волосы на груди не растут. И я.

И вот из десяти стало девять. Три ночи назад. Матик из Тренчтауна попробовал зажечь кокс, как ему показывал Ревун, но забыл как, а Ревуна здесь не было. Ночь стояла безлунная, а мы без фонарика, чтобы с ним добраться и убраться из дома. Матик думал, что умеет делать фрибейс и что ложка кокса есть ложка кокса и сама собой все сделает. Он думал, что кокс где-нибудь оставил Ревун, и давай искать его по полу, по углам, внутри двух шкафов у окна и в печурке около двери. Шарил как помешанный, ну и другие парни тоже стали шарить: кокс, мол, всегда вызывает зуд, хотя не он его вызывает, а герыч. Матик нашел что-то белое, а когда кто-то придвинулся – мол, поделись, – вытащил ствол: только, мол, сунься. Зажигалкой он стал плавить порошок. Он помнил, что кокс нужно нагреть в воде и добавить соды, которая нашлась в шкафу. Улыбался, как бывалый, а остальные глядели на него голодными тиграми. Но Матик забыл про остальное. Забыл про еще одну жидкость, которую подмешивает Ревун, – эфир. Также он сдуру решил, что у Ревуна в доме закуркована нычка. Порошок все не горел и не плавился – какой был, такой и есть. Дыма, чтобы курить и нюхать, от него не шло. И тогда он его лизнул, всей пастью. Лизнул раскаленную, как огонь, ложку, да так, что было слышно, как язык зашкворчал. Фрибейс торкает резко на счете «восемь». Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один... Ни хрена. И тут Матик грохается плашмя прямо на морду – бам-м! – и изо рта начинает идти пена. Никто к нему не притрагивается, а потом появляется Ревун и ну ржать: вот, мол, умора. Ржет и спрашивает – вы, мол, что, всерьез думали, что в грязной вонючей халупе не водятся крысы?

Так из девяти человек становится восемь. А прошлой ночью Джоси Уэйлс рассказал, что нам надо будет делать. Рентон из Тренчтауна возразил, что заделал крутой песняк и не будет вынимать ствол, как тот парень из «Хептонов», что мается в тюрьме после того, как один белый вставил его песню в фильм. Он сказал, что мать его ребенка ходила к Певцу в студию и ей там дали денег и на ребенка, и на нее саму, и на всю ее семью. И что он знает: она одна из сотни с лишним человек, которые получают от Певца помощь, и что будет, если она прекратится? Джоси Уэйлс сказал, что от той помощи не лучше, а только хуже, потому что Певец, с тех пор как разбогател, только раздает беднякам для еды рыбу, потому как не хочет, чтобы они научились ловить ее сами. Кто-то из нас ловит в этом резон, но только не Рентон из Тренчтауна. Ревун вынимает пистоль, чтобы гада прямо тут же и порешить. Джоси Уэйлс говорит: «Постой, бро, давай лучше дослушаем, что он тут втирает». А потом: «Существует цепь основных элементов». Мы не догоняем, о чем он, а он нам: «Рассмотрим формулу кинетической энергии $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, где m – масса, а v – скорость. Она представляет собой последовательность. Рыскание. Деформация. Фрагментация. Кровотечение. Олигемический шок. Обескровливание. Гипоксия. Пневмоторакс, отказ сердца и поражение мозга». Кх-х! Череп Рентона препятствует пуле, но кровь все равно фонтаном хлыщет Ревуну на грудь, и на пол валится тело. «А вот кому майку “Старски и Хатч”!» – кричит Ревун и стряхивает с себя ошметки мозгов. А Джоси Уэйлс прячет пистоль обратно в кобуру и как ни в чем не бывало продолжает: «Вот как белые учили меня заряжать «M16A1», «M16A2» и «M16A4».

Дуло винтовки смотрит в безопасном направлении.

Затвор открываем при взведенном курке.

Рукоятка заряжания в переднем положении.

Ставим на предохранитель.

Проверяем, пуст ли патронник.

Вставляем магазин, толкая его вверх, пока защелки его не зафиксируют.

Нижнюю часть магазина нажимаем вверх, убедиться, что он сидит плотно.

Нажимаем на верхнюю часть фиксатора затвора, чтобы его высвободить.

Толкаем доводчик затвора, убедиться, что затвор в максимально переднем положении и замкнут.

С предохранителя можно снять: оружие готово к бою».

Вот что ты имеешь, когда с тобой люди из Джунглей. Они рвут душу по коксу и благодаря Ревуну получают фрибейс. Джоси Уэйлс уходит, но предупреждает: тот, кто захочет соскочить и уйти, получит пулю, и мы помним, что он в свое время звался Ба-бай⁷⁴. Когда они с Ревуном закрывают снаружи дверь, слышно, как в ней щелкает замок. Дом становится тесней и душней, и я думаю об охраннике, которого собираюсь убить. О фараоне.

Семь человек. Двадцать один ствол. Восемьсот сорок патронов. Я думаю только об одном и том же человеке, и это не Певец. Представляю, как он прижимается к стене и высоким голосом по-девичьи вопит. Вижу, как он, задыхаясь, с мукой в голосе хнычет: «Это не я. Тот, за кем вы пришли, внизу», – потому что он, должно быть, такой вот пидор гнойный. Думаю о человеке, который обманывает и крутит-мутит, но запас удачи у него в конце концов иссякает. Я смотрю на него и говорю: «Вот так выглядит смерть, которая сейчас тебя постигнет».

⁷⁴ От *англ.* bye-bye – до свидания.

Сэр Артур Джордж Дженнингс

Вот оно, время исхода, время умирания. Через три недели пойдет на спад уставший год. Изойдет все: пора влажного жаркого лета, тридцать шесть градусов в тени, майские и октябрьские ливни, от которых вздуваются реки; павший скот и растущие очаги заболеваний. Мужчины, жирующие на свинине, и мальчишки с животами, разбухшими от гнилостных газов. Четырнадцать человек пропадает на поросших кустарником пустошах, а тела взрываются от пуль – четыре, пять, шесть. Многим, многим уготовано пострадать. Многих и многих ждет смерть. Эти слова я украл у одного живущего, с которым смерть ходит уже бок о бок, постепенно снедая от самых пяток.

Я опускаю взгляд на свои руки и вижу мою историю. Отель на южном побережье; будущность, которую суждено вкусить моей стране. Блуждая во сне, они поведали мне, когда нашли, и таким образом выстроили картину по косвенным знакам моих рук, вытянутых вперед и застылых, как у чудовища Франкенштейна; по моим закрытым глазам и ногам моим, печатающим строевой шаг через стойку перил, – ать-два. Меня нашли голым, с глазами начеку, но уже слепыми и умолкшими; со скрюченной под углом шеей и расплюснутым затылком, а также членом по стойке «смирно» (на него и обратили первым делом внимание служащие отеля). В крови моей скрыто кипела грязь похоти.

Есть в смерти вещи, которые мертвые предпочитают не разглашать: ее вульгарность. У порога кончины она меняет вас, ввергая в узилище, где тело стыдится себя. Смерть заставляет вас мучительно, до рвоты кашлять, мочиться и испражняться под себя, смердеть вашими нутряными недужными испарениями. Тело мое изгнивает, но ногти по-прежнему растут, обращаясь в когти, в то время как сам я смотрю, вижу и жду.

Я слышал, как один богач в Америке – человек с деньгами и облеченный властью, заставлявший сгибаться при виде одной лишь его подписи, – умер, входя в женщину, которая не была ему женой. Огромный и гладкий, как морж, он едва не раздавил ее своей убойной массой – человек, через восемнадцать часов сожженный своей женой, которая не могла перенести запаха другой женщины на его теле.

Я и сам входил тогда к женщине, чье имя не могу припомнить, но она остановила меня за этим занятием, посетовав на жажду. «Но вот же вино». – «А льда ты можешь принести?» – «Кто же кладет в вино лед?» – «Я. И я же сумею удивить тебя еще кое-чем, если только ты достанешь мне лед». Я выбежал хихикая, голый – все это в пять утра. На цыпочках по коридору, как Крошка Вилли Винки. У мертвых есть свой запах, но он же есть и у убийц. Перед тем как я полетел через перила, в ноздри мне пахло лимонником и влажным дерном, и уж затем был оглушительный хряст о полы, чистые, как зеркала.

Я в доме человека, который убил меня. Своего запаха на его руках я нисколько не улавливал – так, просто лежалый душок смерти. Не смрад, а скорее память о нем – железисто-ржавая привонь крови старого убийства; сладковатая гнильца приманки в виде тела, пять дней как мертвого. В мире живых он теперь зрелый человек, не ведающий, что пахнет, как запнувшийся о чей-то чужой кошелек воришка (примерно такой же запах исходит от дорогих костюмов с чужого плеча). Вот только костюма на нем нет. Когда меня нашли, я был гол, а он гол сейчас, когда его застиг я. Живот у него заметно покруглел, а по спине в те моменты, как он ритмично наддаёт тазом, пробегает жирная рябь, как у секача во время случки (краску для волос ему не мешало бы подновить). Свою партнершу он наябливает с потным шлепаньем – шлеп, шлеп, шлеп. И утробно рычит над ней, призершей конкурса красоты, которую он взял в жены. На постели, как говорят комментаторы, следы «борьбы по всей площадке». Она напоминает белый водоворот – такая же всклокоченная. Видя, что муж не останавливается, жена-призерша постукивает ему по плечу. Его голова наклонена к

подушке, а ее вжата в матрас. Чувствуя, что из-под него не вырваться, жена снова бьет его ладонью, как проигрывающий борец на ковре. Но в ответ лишь сдавленный хрюк. *«Не хватало мне еще забеременеть, скотина!»* — теряя терпение, кричит она и лупит его уже не на шутку, кулаком. Он, колыхаясь телом, сжимает ягодицы в сладком спазме и выдыхает на всю комнату. *«Пусть ямайцы знают: у вождей не сгибается!»* — победно ревет он, и я впервые за годы слышу его голос. Хотя за годы ли? Я ошеломлен: он ничуть не изменился, этот голос; все с таким же аборигенским акцентом, хотя этот человек, видимо, и работает над собой. Чувствуется, я нагрязнул не к месту; возможно, то же самое чувствует и призерша, некстати очутившаяся под своим неутомимым супругом. В конкурсе «Мисс Ямайка» она заняла лишь второе место, и это был компромисс для обоих: ему не досталась сама Мисс, а ей пришлось удовольствоваться мужем-полукровкой. Ее отец хотел, чтобы она вышла замуж за полностью белого. *«Пусть я буду дристать всухую, — запальчиво восклицал он, — но добьюсь, чтобы моя дочь захмутила какого-нибудь сирийца с ливанской галантереей!»*

Имя женщины, в которую входил, я не помню. Я ее ни разу не видел, да и где ее искать, не знаю. Быть может, то была любовь — но духам свойственно являться туда, куда их влечет неотвязное стремление, а у меня стремления нет. Получается, то ли не было любви, то ли сам я не дух. Или же мое влечение направлено не к ней. Кто просит льда в вино? Знала ли она, что меня за дверью поджидал он? Кто-то обидно назвал меня «краб-поломыш хер антенной». Нет, не персонал отеля: им такое слово, как «поломыш», незнакомо. Может, кто-нибудь, уже праздноующий мой уход? Память о его лице у меня не сохранилась.

Призерша выбирается из-под мужа, сердито шипя: *«Хорошо хоть я про губку не забыла»* — «Ты... чё... не знаешь? — шумно пыхтит он. — Контрацептивы — это заговор, чтобы искоренить людей с темной кожей!» — и хохочет. Затем перекачивается с живота на спину и спешит вручную докончить пьесу страсти. Я не прочь скользнуть внутрь него, чтобы слиться и успеть ухватить толику его ощущений, но уже у изножия кровати нюхом чую сотню с лишним мертвецов. Тут где-то в соседней комнате падает, кажется, стакан, отчего супруги чутко вздрагивают. У жены ночнушка задрана над грудями, и она ее одергивает. *«Драть бы этого кошака и тебя вместе с ним!»* — ворчит муж и встает. Я смотрю, как живот у него постепенно успокаивается, перестают раздуваться щеки (волосы, гляди-ка, даже от секса не взъерошились — пригнаны плотно, как у Железного Дровосека). При виде этого человека во мне возникает смутное томление по жизни, ее шумному суматошному биению.

Мебель для спальни наверняка подобрана женой — шишечки, изгибы, резьба в виде листьев. С потолка свисает противомоскитная сетка. В углу прячется телевизор; открыта дверь в ванную, но в дверном проходе свет не включен. Он всегда считал людей с чувством эстетизма и красоты извращенцами. Я помню, как он, уезжая, сказал это об одном из членов партии. Эту его неприязнь я никогда не разделял; так, я каждый год виделся с Нозлом Кауардом⁷⁵ и даже звал его дядюшкой. Его и его спутника.

Человек, который убил меня, тянется за пистолетом, готовно лежащим на прикроватном столике. При этом штаны его так и валяются на полу. Жена-призерша указывает на них, но он отшучивается: *«Да ну, незачем. Вдруг там свободная мохнатка ждет?»* — и идет в соседнюю комнату. Мне хочется задержаться здесь, с женщиной, — любопытно вкусить толику ее умиротворенности после любовной утехы, — но я отправляюсь следом.

В гостиной находится человек, которого я не припоминаю. Гостиная на нюх — просто кладбище, от которого несет мертвечиною. Этим духом отчасти веет и от новоявленного гостя. Он то ли негроид, то ли азиат; толком не разобрать, из-за изменчивой тени одно пере-

⁷⁵ Нозл Кауард (1899–1973) — английский драматург, актер и режиссер, известный в т. ч. гомосексуальными наклонностями; умер на Ямайке.

межается другим. Я уже чувствую от него запашок умерщвления. Гость кашляет в стакан и говорит:

– Ой. Я думал, тут вода.

– Ты что, не знаешь, как выглядит бутылка белого рома? Или читать разучился? Не видишь, что написано на этикетке?

– Гм. Обычно я сначала нюхаю. А тут сначала глотнул.

– Я говорю, не глотать, а читать. Чи-тать!

– О, ёпт... И слышу как-то хреновато. Всё, знаешь, из-за этого *пум-пум*: уши как ватой заложены.

– Как такое, бомбоклат, можно спутать с водой?

– Да бог его знает. Если в такой красивой бутылке вода, значит, дом и вправду зажиточный. Богато, брат, у вас тут. Где только люди бабки берут на такую красоту? Даже как-то нескромно.

– Ты ждешь от меня скромности в моем собственном доме? Или видишь что-то такое, чего в жизни своей не видел?

– Вот так все богатенькие и кудахчут.

– А бедненькие пускай в колонке помоются. Ты мне тут что, за классовое сознание пришел втирать? Как ты, бомбоклат, в дом мой проник?

– Молча, через дверь.

– Как ты...

– Заладил: как да как. Не надоело? Зачем столько вопросов?

– Насчет «как» это дай я тебе скажу. Почему ты в моем доме... ну-ка... в три часа ночи? Тебе сколько раз говорено, чтобы нас вместе на публике никто не видел?

– Никогда не догадывался, что твоя спальня на публике. Как там красива? Судя по звуку, совсем недавно она все делала ништяково. *Реально* ништяково.

– Слушай, чего тебе надо?

– Ты не знаешь, какой сегодня день?

– Чё-ё? День?.. Хм. С утра был вроде как декабрь, третье число. То самое, что идет за вторым.

– Вот. И хватит с этими твоими манерами. Ты бы лучше вдумался, с кем разговариваешь.

– Нет, это *ты*, бомбоклат, лучше помни, с кем разговариваешь! Влезает ко мне в дом, как какая-нибудь помоечная крыса... Тебе повезло, что ты нынче в отгуле, иначе твоя шкура была б уже с дырой, понял? От пули.

– Ну так, значит, я молодец.

– Всё. Я иду спать. Уходи так же, как пришел.

– Я вот тут думал...

– Ты, часом, не ударился?

– Чего?

– Думал он.

– Мне тут, гм, деньги нужны.

– Ах, деньги ему нужны!

– Послезавтра.

– Завтра уже сегодня.

– Да нет, можно чуть погодя.

– Я уже сказал: не знаю, что за бред ты несешь. Я не в курсе, никого не уполномочивал, и вообще я знаю тебя мало. Папа Ло единственный оттуда, с кем я контактирую.

– Вот как? Теперь это уже *оттуда*? Так ты это называешь? Арти Дженнингс никогда в таком тоне не разговаривал.

– Стало быть, вы с Артуром соловьями щебетали? Вообще-то, насколько мне известно из достоверных источников, он свое уже отчирикал.

В комнату заглядывает обернутая простыней призерша:

– Питер, что здесь за шум? И что за... О боже!

– О гос-споди, женщина, перестань вопить и иди спать! Не каждый ниггер обязательно вор.

– Ну, как раз здесь твоя жена кое в чем права.

– Питер?

– В койку, я сказал!

– Ого, как хлопнула... Мне кажется, дом содрогнулся. Даже уши малость прочистились: *пум-пума* не слышно.

– Ты небось с женщинами обращаться учился в том же месте, где стрелять? Дверью она хлопнула затем, чтобы мы не думали, что она подслушивает с той стороны. Усвоил или повторить? *Дверью. Она. Хлопнула. Затем. Чтобы мы. Не думали. Что она. Подслушивает. С той. Стороны.* Короче, ушла.

– Ну ты и ёб...

– Рот заткни.

– Взаимозачеты у нас пересматриваются по сегодняшнему числу. Теперь этого уже не изменить, даже если б ты захотел это...

– Я уже сказал: понятия не имею, о чем ты. И, конечно же, не понимаю, о какой такой нужде в деньгах ты ведешь речь, когда этот же Джоси Уэйлс всего две недели назад летал в Майами. Но знаешь, почему я знаю, что в этих сраных деньгах ты не нуждаешься? Потому что ты летаешь всего на один день. Вернулся ты, кажется, семичасовым рейсом?

– Да это я так, по одному мелкому дельцу.

– Мелочей у тебя не бывает. Или еще одна твоя поездочка, на Багамы... Каждый, у кого в той стране есть бизнес, имеет свои секреты.

– Певец заигрывает разом и с Папой Ло, и с Шотта Шерифом.

– Скажи-ка мне что-нибудь, чего я не знаю.

– Папа Ло думает встретиться с Шотта Шерифом и всерьез перетереть без посторонних ушей. Они, кстати, оба перестали есть свинину.

– Ого! Этого я не знал. Что они там оба затевают? Не, серьезно: о чем они реально могут разговаривать? И что, значит, оба перестали есть свинину? Они что, растаманами становятся? Это все Певцовы дела? Он их раскручивает на разговор?

– Тебе в самом деле нужна помощь в ответе на этот вопрос?

– Не зарывайся давай, черномазик.

– Нашел черномазика... И расценки, учти, поднялись.

– Ты эту хрень отнеси в ЦРУ.

– Раста на ЦРУ не работает.

– А я, Джоси Уэйлс, не работаю на тебя. Так что воспользуйся моим советом, как бы глупо он ни звучал: выходи через дверь. И больше сюда не возвращайся.

– Ром я забираю с собой.

– Прихватывай уж и стаканы – может, хоть манерам чуток подучишься.

– Ха-ха. Ну ты нечто. Дьявол и тот на тебя глянет и махнет рукой. Ты просто нечто.

Тот, который меня убил, уходит, не закрывая за собой двери.

На этих мертвых землях есть и еще один человек, которого я не знаю. Мертвый, который умер по злему року; пожарник, что отошел бы с миром, если б просто погиб на пожаре. Он тоже здесь в комнате, пришел вместе с гостем по имени Джоси Уэйлс. Он ходит рядом с ним и временами проходит сквозь него (Уэйлс эти моменты по ошибке принимает за секундный озноб). Он пытается ударить Уэйлса, но вместо этого лишь проходит насквозь. Я,

бывало, пытался делать то же самое с человеком, что убил меня, – ударить, пнуть, шлепнуть, порезать, – но он от этого единственно что вздрагивал. Гнев проходит, в отличие от памяти. Она не зарастает, и ты живешь с нею – несносно горькая ирония.

Знаю я и ту его историю: он ее всякий раз выкрикивает. Вот и сейчас он голосит ее навзрыд, не видя, что в комнате я единственный, кого можно назвать свидетелем. Он примчался на пожар на Орандж-стрит, в составе седьмой пожарной бригады. Пожар бушевал в квартирной двухэтажке, и из окон там бешеными рыжими змеями рвалось пламя; пятеро юношей были уже мертвы, двое застрелены еще до пожара. Он схватил шланг, зная наперед, что напор воды здесь бессилен, но все равно побежал через ворота. Справа ему ожгло щеку, а слева висок разорвался от пули. Вторая пуля ударила его в грудь. Третья царапнула шею пожарнику, что бежал следом. И вот теперь он ходит за человеком, что послал его обретаться к таким, как я. Джоси Уэйлс уходит через окно. Пожарник следом. День толком еще не родился, но уже мертв.

Часть II

Засада в ночи⁷⁶

3 декабря 1976 года

Нина Берджесс

Так вот живешь себе и не знаешь, пока не столкнешься? – каково оно, предчувствовать в глубине души, что через несколько минут тебя изнасилуют. *«Предчувствия тень косяя»*... Ох уж эта Кассандра из греческой мифологии на школьных уроках истории, которые никто не слушает, которая и сама себя не слышит. К тебе еще не притронулись, но ты уже обвинила себя, глупенькую наивную шлюшку. Сейчас, совсем скоро, тебя будет насиловать мужик в форме, а ты-то думала, что эти добрые и верные дяди придут к тебе на помощь, чтобы снять кошку с дерева, как в детских рассказах про Дика и Дору.

Первым делом до тебя доходит, насколько оно бередяще безумно, это слово *ждать*. И теперь, в ожидании, единственно, о чем ты можешь думать, это как, за каким чертом ты оступилась, упала и очутилась под каким-то мужиком? Тебя еще не изнасиловали, но ты знаешь, что это произойдет. Угроза этого в том, как ты уже третий раз замечаешь на себе в зеркальце неулыбчивый взгляд мужчины, чья рука непроизвольно тянется к мошонке, готовясь к таинству, от которого кое-кому не до смеха.

Она в обручем сковывающей медлительности, хотя, казалось бы, еще есть время что-то сделать – выскочить, пуститься наутек, закрыть глаза и вообразить Пляж Сокровищ. В твоём распоряжении все время на свете. Потому что, когда такое происходит, это твоя вина. Почему ты не вырвалась? Отчего не ушла? Фараон слышит мой ум и жмет на газ, повышая ставки. Почему ты не вырываешься? Отчего не уходишь? Если открыть дверцу, то можно выпрыгнуть, обхватив себе колени, и катиться, пока не остановишься. Затем просто беги направо, в кустарник, лезь через чей-нибудь забор – да, ты можешь себе что-нибудь сломать, но на адреналине можно унести далеко, очень далеко, этому меня тоже учили в классе. Можно заработать синяк на плече, можно сломать запястье. Машина проносится через четвертый светофор. «Хочешь нас убить – действуй», – говорит второй фараон и хохочет. Я слышала историю о женщине, которая пришла в полицию заявить об изнасиловании, но ей там не поверили и изнасиловали еще раз. Ты боишься, ты чувствуешь запах своего пота и надеешься, что пот не означает, что они догадываются о твоём страхе. Всего пару дней назад ты подрезала себе ногти, потому что весь этот гламур в виде модных салонов очень дорог, и вот сейчас, потому что у тебя нет ногтей, чтобы зацарапать этих сукиных сынов, ты надеешься, что они об этом не догадываются.

Но больше всего ты коришь и винишь себя, оправдывая их уже до того, как дело дошло до суда (судьи в котором, вероятно, перед тем как отправиться на работу, дисциплинируют своих жен тумакми), в том, что на тебе нет трусиков. Ты не только шлюха, о чем тебе рассказывала мать, которая посмотрит на тебя с осуждением: мол, «ты сама на это напросилась». «Да неужто?» – думаю я. А кто велел тебе быть женщиной, когда к тебе в дом нагрянули трое вооруженных громил? Значит, ты тоже повинна в своем изнасиловании. Через какое-то время до тебя доходит, что тебя трясет не от страха, а от ярости. Я снимаю правую туфлю, единственную с каблуком, и крепко сжимаю. Как только эти ублюдки откроют дверцу, один

⁷⁶ «Засада в ночи» (англ. Ambush in the Night) – название известной песни Боба Марли, которую он сочинил после покушения на его жизнь в декабре 1976 г.

из них останется без глаза, неважно который. Он может меня потом испинать, застрелить, оттрахать в задницу, но остаток жизни он будет жить с сознанием, что эта сука взяла с него уплату.

Не могу себе представить ничего хуже, чем ожидание изнасилования. Если у тебя было время ждать, то, видимо, было и время его остановить. «Если ты не для продажи, то нечего и рекламироваться», – звучат в памяти слова школьной директрисы в эту самую минуту. Ты уже обдумываешь то, что будет после изнасилования, – как ты будешь покупать себе платья длиннее, а чулки короче, чуть выше колена, от которых смотришься старой, а платья с оборками, как в первых кадрах «Домика в гребаных прериях»⁷⁷. Я перестану ухаживать за волосами, брить ноги и подмышки. Прекращу пользоваться косметикой. Вернусь к туфлям без каблуков и выйду замуж за человека из Суоллоуфилдской церкви, который будет ко мне терпелив, – темнокожий, который все простит мне за то, что я рожу ему светлокожих детей (это и будет сутью нашей сделки). Хочется завопить: «Остановите машину! Вот вам мой передок, и давайте с этим закончим», – но выходит очень уж круто, как будто этим ты хочешь нагнать на них страху, и ты знаешь, что из твоего рта таких слов не прозвучит. И не из приличия, штырь тебе в забрало, а просто потому, что тебе не хватит духа. И от этого ты ненавидишь этих чертовых фараонов еще сильнее – то, как они третируют тебя, словно птичку, пущенную в клетку с их кошкой. Все равно что человек, копающий себе могилу, видит, что осталось уже немного, и растягивает время, уже видя то неизбежное, что должно произойти.

Не знаю, что я такое несу, но я точно употребляю непечатные слова слишком уж часто. Еще немного такой брани, и мне впору будет зваться Ким-Мари Берджесс. Это ей сейчас место в такой вот машине, ей с ее упражнениями в свободной любви. Нет. Что за коварство: желать такое своей сестре. За тем исключением, что я не могу об этом не думать. Такого не заслуживает никто. Хотя она заслуживает этого больше, чем я. Чтобы взять на Хэйвендейл, они должны были повернуть налево. Но они повернули направо, в сторону центра, сказав, что есть более короткий проезд. Сейчас они разговаривают, и один говорит, что еще никогда такого не видел: премьер устраивает выборы, до которых осталось всего две недели.

– Мухлеж какой-то, – говорит он.

– А тебе-то чё? – говорит второй. – Можно подумать, ты у нас без пяти минут социалист.

– Кого ты, мля, сицилистом назвал? Лучше уж назови меня кули или растой.

– Расты расты педерасты... А ты, конфетка шоколадная, любишь социалистов или расфарай?

– Ха-ха-ха, – смеется второй.

– Ой, совсем забыл... Тебе же нравятся даппи, такие ж, как ты.

Мне хочется сказать: «Извините, я слишком занята размышлениями, как быть женщине в семьдесят шестом году: трахают если не политиканы, то мужики в форме», но вместо этого я говорю:

– Извините?

– Раста, говорю, или социалисты? Мы ждем твоего ответа.

– А как близко тот ваш короткий путь?

– Он тем ближе, чем ты тише будешь сидеть и лучше слушаться. И... э! Харэ уже стряхивать пепел мне на форму! Сколько раз тебе говорил!

– Не ндравится – стряхни.

– Вот, блин, зараза...

– Ну так останови машину. Один хер мотору надо дать отдохнуть.

⁷⁷ Речь идет об американском сериале «Маленький домик в прериях», о семье, живущей на ферме в шт. Миннесота в 1870—1980-х гг.

И вот они останавливают машину. Я уже не достаю их словами, что мне нужно домой. Я знаю, что у них на уме. Любой женщине, что шляется за полночь по Хоуп-роуд в туфле с одним каблуком, вряд ли куда-то нужно. Может быть, эти выборы назначили слишком быстро. Может, коммунизм не так уж и плох; во всяком случае, я ни разу не слышала ни об одном больном кубинце или кубинце с плохими зубами. И может, это означает, что жизнь у нас в чем-то идет на лад и иногда новости не мешает читать на испанском. Я не знаю. Не знаю ничего, кроме того, что мне уже осточертело ждать, когда эти полицейские оставят меня где-нибудь в канаве. Лучше б уж я боялась. Часть меня знает, что мне полагается бояться, и желает этого; в конце концов, что говорят о женщинах вроде меня, если я на самом деле не такая? Они оба облокотились на автомобиль, загородив мою дверь. Сейчас, прямо сейчас можно выбраться с другой стороны и бежать, но я этого не делаю. Может, они меня все-таки не изнасилуют. Может, сделают что-нибудь не такое уж плохое, а может, даже хорошее; хорошее или плохое, но все равно лучше, чем ничего, которым я прозанималась весь день и вечер. Теперь уже скоро утро. И это все его вина, вина его секьюрити и вина вообще этого чертового концерта за мир. Страны. Бога. Что там за Богом, черт его знает, но скорей бы уж, скорей бы они со всем этим покончили...

– Вчера вечером казали «Старски и Хатч»: писк. Короче, Старски получил укол секретным ядом, ты понял? И у брата только двадцать четыре часа, чтобы найти, кто уколол, иначе ему крышка, и...

– А я вообще не знаю, который из них Старски, а кто Хатч. И почему они такие чувствительные, прямо как содомиты?

– У тебя, мля, куда ни кинь, везде содомиты и жопники. Если у мужика нет женщины, ты уже считаешь, это потому, что он в попу ахается. Ну прямо цирк... Слушай, я все не могу понять, чего это у машины движок так странно работает, толчками? Особенно на скорости.

– Хочешь, я проверю на скорости?

– А крошку на заднем сиденье не зашибешь?

Слыша, как они упоминают про меня, я спрашиваю:

– Так мы едем в Хэйвендейл, или мне уже выходить и идти пешком?

– Ха. А ты знаешь, где находишься?

– Все одно в Кингстоне.

– Ха-ха! Кто тебе сказал, что ты в Кингстоне? Щёчка-защёчка, а который из нас симпатичней, я или мой брат? А? Кому из нас быть твоим бойфрендом?

– Если вы собираетесь меня изнасиловать, то лучше б уже сделали это и оставили в канаве, куда скидываете женщин. Только не наводите на меня скуку своей трепотней. Достали уже.

У одного из них сигарета выпадает изо рта. Они смотрят друг на друга, но долгое время ничего не говорят. Так долго, что я мысленно насчитываю несколько минут, может, даже пять. Они не просто молчат, а даже не разговаривают между собой, как будто мои слова отняли у них все, что они намеревались сказать друг другу или мне. Извинений я не приношу – коли на то пошло, что должна думать женщина, когда двое незнакомых мужчин отвозят ее в совершенно незнакомое место, тем более что ехать туда она не просила? Да еще среди ночи, когда ей остается единственно надеяться, что, когда она завопит, темнота не останется глухой.

Они отвозят меня домой. Тот из них, что курил, говорит: «В следующий раз, когда ищешь, с кем перепихнуться, говори заранее, чтобы тебя можно было отвезти и оставить там, где тебя потом можно найти». И они уезжают.

Это было четыре часа назад, а я все еще не сплю. Я в постели, все в той же одежде, что была на мне весь день, и не обращаю внимания на то, что ноги у меня по-прежнему горят, а грязь измарала простыни. Хочется есть, но я не шевелюсь. Хочу почесать ноги, но лежу не

шелохнувшись. Я хочу помочиться, хочу под душ, смыть с себя день, который прошел, но не трогаюсь с места. Со вчерашнего утра я ничего не ела, если только можно назвать едой грейпфрут, разрезанный пополам и сдобренный для сочности сахаром, – именно то, что, по словам матери, приводит к раннему диабету. Мать у меня так боится беды, что беда к ней как будто липнет просто потому, что они неустанно друг в дружке нуждаются. Завтра концерт за мир, и достаточно будет одного выстрела – всего одного, даже предупредительного, – чтобы все взорвалось адищем. Раньше в этом году на стадионе неожиданно начался дождик, и толпа запаниковала. Всего пятнадцать минут оказалось достаточным, чтобы в этой панике насмерть затоптали одиннадцать человек. В него никто стрелять не будет, просто не осмелится, но этого и не нужно. Черт возьми, если б я знала, что ННП затевает такую грандиозную акцию, до которой остается меньше двенадцати часов, я бы тоже прихватила туда пистолет.

Эта страна раскачивается в анархии уже так долго, что любой ход событий обернется неминуемым крахом. Я говорю словно не от себя. Бог ты мой, да я же рассуждаю, как Кимми, а вернее, второй ее бойфренд – не раста, а коммунист. Громилы ЛПЯ обязательно сойдутся в парке, в укромной его части – возможно, у памятника Маркусу Гарви⁷⁸, – и кого-нибудь пристрелят.

Пристрелить понадобится всего одного. Затем они разбегутся, но толпа, уже заведенная, не остановится, пока не спалит пол-Кингстона. Поднимет голову Копенгаген, но толпа к той поре будет уже неодолимо велика, и когда начнется бойня, волны гнева всколыхнутся до самого Хэйвендейла. Они сожгут Копенгаген дотла, кроша всех подряд, а люди самого Копенгагена сожгут Восемь Проулков, круша там всех подряд, и огромный приливный вал, поднявшись от бухты, смоем все тела и всю ту кровь, всю музыку и всю вонь гетто в море, и может быть – я лишь говорю «может быть», – моя мать наконец перестанет заворачиваться, как мумия, в простыню для того лишь, чтобы оберечь от дурных людей свою вагину, и сохранит рассудок и заснет спокойно.

⁷⁸ Маркус Гарви (1887–1940) – деятель всемирного движения негров за права и освобождение от угнетения; родился на Ямайке.

Папа Ло

Вот что еще скажу, досточтимые. Никогда не поворачивайтесь спиной к белому парняге. После жаркой безлунной ночи думается единственно, что в воздухе веет какой-то изменой – то ли от Бога, то ли от человека, – но никогда не вставайте спиной к белому пареньку. Повернетесь спиной к белому пареньку, который хлебает нашу мужскую огненную воду и багровеет от специй, и он, вернувшись к себе в Америку, напишет, что аборигены угощали его супом из козьей головы и суп тот припахивал кровью. Повернетесь к белому пареньку спиной, когда он говорит, что прибыл в гетто в поисках ритмов, и обратно в Англию он уедет с пачкой ваших сорокапятков, на которых он озолотится, а вы останетесь бедняками. Повернетесь к белому пареньку спиной, и он заявит, что это он «застрелил шерифа», а кто же еще? И опустит вас до вторых ролей, а сам зайдет по-хозяйски на сцену и скажет: «Этим вот цветным, и этим вот ниггерам и арабам, и этим гребаным ямайцам и гребаным тем-то и тем-то здесь не место, они нам тут не нужны». Это Англия, белая страна, и потому он думает, что черномазый никогда в глаза не видел «Мелоди мейкер»⁷⁹. Певец это просек на свой лад всего несколько недель назад в доме на Хоуп-роуд, когда готовился к концерту за мир.

Это было всего несколько недель назад – может, всего две. Певец со своими музыкантами репетировал с утра до ночи. Джуди отозвала его в сторонку и сказала, что одна строчка, которую он пропевает, – «под гнетом приличий» – напоминает девиз ННП, и если он споет ее на концерте, то многие подумают, что он вяжется с нацпатриотами, что и так уже на слуху. Они еще на раз прогоняют песню, и тут появляется этот белый парняга. Просто возникает как из ниоткуда, по взмаху волшебной палочки: «дзин-нь!» – и он уже здесь.

– Опа. Ты откуда, босс, такой взялся? – спрашивает барабанщик.

– Я? Снаружи.

– Ты с Крисом?

– Да нет.

– Ты – парень из «Роллинг стоун»?

– Нет.

– Из «Мелоди мейкер»?

– Не-а.

– «Нью мьюзикал экспресс»?

– Тоже нет.

– С плантации дядюшки Кита?

– В смысле?

– В смысле, тебя Кит Ричардс подослал с травой? Такой, как у него, травки нет даже в Джемдауне.

– Не-а.

Выходит Певец, прояснить, что это за белый парняга, который будто из воздуха объявился, причем сразу в студии – даже не во дворе, где обычно толкуются белые, обычно с длинными волосами, заплетенными как бы в дреды, в темных очках и фирменных майках («Парни, вы тут все такие клевые с вашим регги, такие авангардные... А ганджа у вас тут есть?»).

Но у этого белого вид не приبلудный, будто он откуда-то прискочил и ищет непонятно чего. Певец спрашивает, как его звать, но тут музыканты зовут работать, и он уходит обратно на репетицию. От травяного дыма белый парняга отмахивается, как от облака mosquitos, и даже, кажется, не вдыхает. Под ритм он кивает головой, но делает это как большинство

⁷⁹ Название популярного британского музыкального журнала.

белых, с отставанием. И будто ждет, когда все закончат. Но музыканты на него ноль внимания, а когда песня заканчивается, его уже нет.

Примерно в это время Певец идет на кухню, как у него заведено, за апельсином или грейпфрутом, и тут на тебе: снова этот белый, будто специально ждет. Он смотрит, но как бы мимо Певца, и спрашивает: «А что значит “Безумная брешь”?»⁸⁰ И, не дождавшись ответа, гнусаво затягивает вступление – «они безу-мны, они безу-мны», – как будто пытается въехать в слова не разумом, но чувством. «А ты слышал, что пару месяцев назад сказал про тебя Эрик Клэптон? Вот ведь реально подлянщик: выполз на сцену и говорит: “Британия должна быть для белых! Всех этих цветных, арабов и гребаных ямайцев гнать взащей”, – нет, ты представляешь? Вот прямо так и сказал: “Всех гребаных ямайцев”. Уау! Хотя кто, как не он, сделал на тебя кавер?»⁸¹ Вот так и получается, что никогда не знаешь, кто твои друзья».

Певец ему отвечает, что всегда знает наверняка, кто ему друг, а кто недруг, но белый парень продолжает с таким видом, будто говорит сам с собой. На кухню заходят двое из ансамбля и просто обалдевают: этот ловкач опять здесь? Ну просто фокусник! Один из них говорит: «Йяу, брат. Тебя, наверное, туристический автобус потерял». Но тот не улыбается и даже не хихикает – типа «хе-хе-хе», как делают белые, когда толком не знают, шутят с ними или нет.

– Бог. Бог. Бог, – говорит он. – Знаешь, с чем у Бога проблема? Типа у Иисуса, Аллаха, Иеговы, Яхве, или какими еще перцами их можно назвать... У вас, кстати, его кличут Джа?

– А ну-ка не богохульствуй со святыми именами.

– Короче, у Бога проблема в том, что ему все время нужно прославление, ведь так? Ну, типа, внимание, хвала, признание. Он же сам сказал: «Во всех путях твоих познавай меня»⁸². А если перестать обращать внимание или взывать к нему по имени, он как бы просто перестает существовать.

– Брат...

– А вот дьяволу, ему признания не нужно. Даже скорее наоборот: чем больше шитокрыто, тем лучше.

– Босс, что ты такое несешь...

– Типа, ему не нужна сверка по имени, фамилии, его даже вспоминать не надо. По мне, так дьявол может быть где угодно, вокруг и возле.

– Йяу, последний автобус с туристами вот-вот отходит. Смотри, бро, придется тебе искать такси. Так что лучше отваливай сейчас.

– Ничего, я как-нибудь.

– Но мы же репетируем, и... Постой-постой! Ведь сегодня туравтобусов нет. Откуда ты, язви тебя, взялся?

Все это время Певец молчит. Вопросы вместо него задает группа. Парняга шатается по кухне, смотрит в окно, затем на плиту, берет грейпфрут. Разглядывает его, два раза подкидывает и кладет обратно.

– Так что это за «Безумная плешь»? О чем она?

– «Безумная плешь», брат, – она о безумной плешу. Если человеку приходится разъяснять свою песню, то он должен писать разъяснения, а не песню.

– Браво.

– Что?

⁸⁰ «Crazy Ballhead» – искаженное название песни Боба Марли «Crazy Baldhead» («Безумная плешь»).

⁸¹ Кавер-версия – авторская музыкальная композиция (часто известная) в исполнении другого музыканта; в данном случае имеется в виду кавер Эрика Клэптона на песню Боба Марли «I Shot the Sherrif».

⁸² Прит. 3:6.

– А «конго бонго ай»? «Конго бонго ай», в «Модном дреде». «Я застрелил шерифа» – с этим все понятно, это метафора, верно? Изм и шизм. А я хочу узнать, что случилось с человеком, который пел сладкие песенки вроде «Замути это». Это потому, что те двое от тебя ушли? Что стало с любовью, которая бережит всем сердца? Или вот «Жгу и граблю» – она чем-то перекликается с «Танцами на улице»?⁸³ Ну, типа, сердитый ниггеровский музон.

Черных, что живут на Ямайке всю свою жизнь, слово «ниггер» нисколько не выламывает. А вот черных, что из Америки, – совсем другое дело. Кто-то из музыкантов бросает крепкое словцо, но быстро замолкает: белый парняга спесиво вскидывается. Территория абсолютно не его, нет у него ни мышц, ни пистолета, но все равно ведет себя так, будто это место под ним. Типа, никто не смеет его тронуть: он же белый. Уж я знаю. Знаю, что это идет еще от рабства. Ямайцы любят бахвалиться, как они были самыми непокорными неграми на всем белом свете. Но правда-то в том, что когда рабовладелец отправлялся в лес с дюжиной своих рабов, кое-кого из которых он сек накануне, то никто из них даже пикнуть не смел.

– Новый альбом стреляет прямиком в самые верхи чартов. Турне у тебя уже расписано от и до: Швеция, Германия, «Хаммерсмит Одеон», Нью-Йорк. Вы тут вообще американское радио слушаете? В смысле, лично я против черных ничего не имею – Джими Хендрикс там, пятое-десятое... Но вот в чем штука. Джими умер, а рок-н-ролл все равно остается рок-н-роллом – «Дип Перпл», «Бакмэн Тернер овердрайв», «Оральный секс»⁸⁴... Им не надо никакого маскарада, притворства, что ты рок-звезда. «Мой мальчик леденчик» – тоже была хорошая песня, битовая, Милли Смолл очень задорно ее пела – пришла, сделала хит и ушла... Упс, у меня от вас сердце идет в отрыв! Ха!

К этому времени белый парняга теснится, отшагивает, потому как видит, что его окружают. Но на вид он не нервничает, а лишь триндит без умолку, и никто его не понимает. Певец хранит молчание.

– Америка? Мы переживаем суровые времена. Просто реально суровые. Нам надо собраться. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь смутьян всколыхнул нежелательный элемент. Рок-н-ролл есть рок-н-ролл, и у него есть свои нежеланные фанаты, свои экстремалы... Гляньте, я пытаюсь довести это до вас по-доброму. Но рок... рок, он для настоящих американцев. И вам всем нужно прекратить растить свою зрительскую массу... мейнстримной Америке ваш месседж не нужен, поэтому хорошенько подумайте насчет этих ваших гастролей... Может, вам следует держаться побережий. И не соваться в глубину мейнстримной Америки.

Это он повторяет за разом раз, с одного направления в другое, с новыми словами и теми же словами, пока ему не кажется, что его слова осели. Но, как обычно, белый парняга считает темнокожих за придурков. Хотя поняли его еще тогда, когда он только возник в дверях. А заодно и его месседж: не дуркуйте с белыми.

Для проверки, осели его слова или нет, он ни на кого не смотрит, но как бы высчитывает. Затем говорит что-то насчет всех этих временных виз для гастролеров, что лежат на столе у какого-то клерка в посольстве, который вконец замотался. Певец все помалкивает.

– «Мой мальчик леденчик» – вот это песня так песня. Всем песням песня, – буровит он и выходит через кухонную дверь. С минуту в комнате стоит тишина, а затем кто-то выкрикивает что-то насчет «белого бомбоклата» и кидается следом за ним через дверь, но его уже след простыл. Дзинь, и как не бывало.

Кто-то говорит, что это наведалься сам дьявол. Но это декабрь семьдесят шестого, и если на ЦРУ не работают раста, то это делает кто-то еще. Я спрашиваю секьюрити, как они

⁸³ Фразы и названия песен Боба Марли.

⁸⁴ «Оральный секс» (англ. жарг. Brain Salad Surgery) – альбом английской группы «Эмерсон, Лейк энд Палмер» (1973).

его пропустили, а они просто пожимают плечами, что он просто прошел с таким деловущим видом, будто он персона поважнее, чем они, и дело у него неотложное. Мне это известно, известно и Певцу. Никто с такой кожей, как у нас, не притронется к таким, у кого кожа, как у него. С этой минуты Певец подозревает всех, даже, наверное, меня. Мое имя замешано с ЛПЯ, и все уже думают, что это лейбористы работают на ЦРУ, особенно когда с пристани исчез груз якобы не оружия. Бац, и нету. Но этот белый парняга не грозился и не остерегал его, чтобы Певец отменил концерт за мир, как другие, что звонят и дышат в трубку, или шлют телеграммы, оставляют у охраны записки или стреляют в воздух, когда проносятся мимо дома на скутерах. Певец не боится никого, кто грозит ему в лицо. Но он не высказывает вслух то, чего боюсь высказать я сам. Что мой срок близится. Я самый плохой человек во всем Копенгагене. Но плохость больше ничего не значит. Плохое не может состязаться с коварным. С кознями, заговорами. Плохое не выстаивает против злого. Я вижу, что чувствую себя быком на открытом пастбище и что на меня смотрят. А политика – это новая игра, и в нее должен играть человек иного склада. Политики приходят поздно ночью разговаривать с Джоси Уэйлсом, а не со мной. Джоси Уэйлса я знаю. Я был здесь в шестьдесят шестом году, когда они вынули из Джоси изрядную часть души, но только ему известно, что туда вложили взамен.

Что до других, то белый парняга из Америки и белый парняга с Ямайки – точнее, араб, а не белый, который трахает английскую блондинку, чтобы их дети были полностью свободны, – они тоже грозятся Певцу. Все потому, что «модный дред» хочет петь свои хитовые песни и высказывать суждения. Даже сейчас никто не знает, откуда пришел этот белый, и никто не видел его снова ни в посольстве, ни в «Мейфэр», ни в «Ямайка-клубе», ни в «Игуана-клубе» или клубе «Поло», или где там еще иностранные белые трутся с местными белыми. Может, он здесь даже не живет, а просто прилетел с единственным заданием. С того дня охрану на воротах удвоили, но затем наш секьюрити сменила «Команда «Эхо». Любая команда лучше, чем полиция, но команде от ННП я не доверяю.

Человек, знающий, что у него есть враг, должен постоянно находиться на чеку. Человек, знающий, что у него есть враг, должен спать с одним открытым глазом. Но когда у человека врагов слишком много, он вскоре низводит их всех до одного уровня, забывая их отличать, и начинает думать, что каждый враг – это враг один и тот же. Насчет того белого парняги Певец, похоже, не заморачивается, но я думаю о нем все время. Один раз я спросил Певца, как тот белый парень выглядит, так он на это лишь пожал плечами. «Просто, – говорит, – как белый парняга».

Джоси Уэйлс

Даже в такую жаркую ночь (скоро уж утро) и даже при действующем комендантском часе из-за того, что это липовое правительство не в силах справиться с дерьмом, через дорогу от дома Певца видно, как дежурит блядь, промышляющая на Хоуп-роуд. А может, и не блядь. Может, просто еще одна покинутая женщина, которых в Кингстоне пруд пруди; стоит и думает, что в Певце есть что-то, чего она искала всю свою жизнь. Скажу вот что: если контроль над рождаемостью и вправду заговор по изведению темнокожих, то тогда Певец, должно быть, заговор, направленный на их повторный распад. Даже уважаемые родители из Айриштауна, Огесттауна или еще какого места, где живут зажиточные, подсылают своих дочек якшаться с растой в расчете, что те выносят от него потомство, которое не будет обделено деньгами. Только эта, которую я увидел, когда свернул на Хоуп-роуд забрать Бам-Бама, просто маячила, как чучело. Как будто ничем и не торговала. Может, она призрак? Что-то подмывало меня подъехать к ней и сказать: «Почем берем? Может, скидку дашь на комендантский час?» Но со мной в машине сидит Бам-Бам – тоже мне, навязался на мою голову. Рассидится, пообвыкнется, так еще и вопросы начнет задавать, типа, знал ли я его отца и куда делись те кларксовские туфли из дома, где он на первых порах жил. К тому же гладко звонить – это по части Ревуна, а не меня.

Ревун тоже со мной. Уже собираясь отъезжать, я сообразил, что надо дать этому ящику, как ее, Пандоры запрыгнуть в мой «Датсун», и я кричу, чтобы он меня подождал. Я все еще даю ему водить машину. Мы катим обратно в Копенгаген, прямо мимо дома Папы Ло, и я вижу, как он сидит там на веранде – эдакий дядюшка Римус⁸⁵. Рано или поздно он захочет со мной обо всем перетереть – обычно в таких случаях говорит он, все о том же и ни о чем. После того как этот человек начал впадать в задумчивость, он уже не тот, что прежде. Сейчас я нахожусь в доме часа два, может, три. Что-то говорит мне, что этой ночью не спит никто. Мне это не нравится. Ревун считает, что всё нормалёк. Мне не нравится работать со щеглами, но Ревун твердит, что всё путем. Хотя и Ревун, если разобраться, недалеко от них ушел. На данный момент он под кайфом и шпарит у меня в машине одну деваху из «Розовой леди». Чтобы ее склеить, он заставил меня покружить возле клуба после того, как мы заперли тех парней в хибаре у переезда. По слухам, эта оторва по имени Лерлетт была единственной из Арденнской средней школы, которую туда приняли и исключили в первый же день. Не спрашивайте, откуда я знаю: конечно же, мне разболтал Ревун. Я ему сказал, как отрезал: «Ты ни за что не потащишь эту лярву в дом, где я расту моих детей». А он мне: «Брат, да нет проблем: мне и машины хватит».

И вот я слушаю, как под окном поскрипывает на рессорах мой «Датсун». Сейчас бы прилечь, заснуть... Если я не лягу, то завтра буду сонный, а плохой не может позволить себе быть сонным, особенно завтра. Между Ревуном, устроившим потрахульки в моей машине, и Питером Нэссером, кобелящимся перед своей страхолюдиной, в голове у меня столько дум и тревог, что даже непонятно, как я смогу заснуть. Надо бы крикнуть из окна, чтобы Ревун наконец кончал со своим ристалищем, но это, чего доброго, выставит меня как его старшего брата, папашу или, еще хуже, мамашу.

И этот мандюк Питер Нэссер. То, чего я больше всего не переношу, это когда человек о себе такого весомого мнения, что у него даже ветры становятся тяжелыми, как стон. Думает, что он все знает уже потому, что к нему прислушивается кое-кто в партии. Только вот я ни в какую партию ни ногой. Он павлином разгуливает по гетто, держа высоко голову с плохими

⁸⁵ «Сказки дядюшки Римуса» – собирательное название сказок, основанных на негритянском фольклоре («Братец Кролик и Братец Лис», «Смоляное Чучелко» и др.).

парнями, потому что не держит страха передо мной. У меня нет желания, чтобы политиканы меня боялись, я просто хочу, чтобы они понимали: со мной в игры лучше не играть. Деваха в машине приглушенно вопит, чтобы ей «впендюрили по гланды». *«Нгх, нгх! Ну, при же меня, при, жарь мою мохнашку! Нгх! Рви ее в тряпьё!»* Нет уж, второй раз за одну ночь выслушивать, как где-то рядом порются другие, – это перебор. Я отхожу от окна.

Чтобы нанести человеку урон, прикасаться к нему нет нужды. Все эти белые думают, что какое-то время можно погрешить с дьяволом, а затем, когда придет время, незаметно отскочить. Я помню, как Питер Нэссер впервые прибыл в гетто. Он был в темных очках, чтобы никто не мог разглядеть, что говорят его глаза. Как он базарил почти как ниггер, но все равно звучал так, чтобы было видно: образование он получил американское. Нет, как ни крути, а нельзя доверять человеку, который на всех смотрит так, будто их можно заменить, от жены до инфорсера банды. Он уже закидывает удочку Ревуну и Тони Паваротти насчет того, чтобы меня заменить, когда дела разрастутся, или потяжелеют, или же станут слишком мудреными для человека, не ходившего в среднюю школу.

Спору нет, этот избирательный округ плотно под ним – чтобы это доказать, у него есть голоса и женщина из местных. Однако он начинает путать, что представлять людей еще не значит ими владеть, и скоро даже с ним за это поквитаются. Не я, так кто-то другой. Людям вроде меня средняя школа не нужна, мы свою выучку уже получили. Еще до того, как Питер Нэссер начал посещать нас среди ночи на машине, багажник которой доверху набит стволами. До того как он дошел умом, что для него лучше, если Копенгаген и Восемь Проулков продолжат биться, а не мириться. «Надо сделать так, чтобы они спалились в борьбе за мир» – так я говорю. Но к этой поре дом в Майами достраивается, а человек вроде Питера Нэссера начинает прогибаться под своим собственным весом.

Гребаный Ревун. Но он хоть больше не шлет писем тому чертиле в тюрьме. Кому именно, он не говорит, но я все равно дознаюсь. И когда я это сделаю...

Появляется Ревун:

– Вот это был отвал башки! Отпад! Высунув кончину, мчится мужичина. Йяу!

– Тебе дать тряпку обтереться?

– Не надо, брат, все само отпарится, – говорит он, с прищуркой протирая свои треснутые очки.

– Испарится.

– Чего?

– А как та девонька до дома доберется?

– У нее что, ноги отнялись?

– Ну ты ходок, Ревун. Всем донам дон.

– Нет, солнце, это как раз про тебя. Ты у нас такой дон, что тебе впору зваться Писейдон.

– Посейдон, чтоб тебя.

– А я как сказал? Слушай, а чего ты не спишь? Я думал, ты десятый сон видишь, а ты тут ворчишь, как бабка.

– Да уж и смысла нет спать. Всё думки в голову лезут, так что не до сна.

– Дурью ты маешься, вот что. Будешь в голову брать – станешь скоро как наш старик, мимо которого мы сейчас проехали, а он нас и не заметил за своим сидением на веранде как сурок.

– Знаешь, почему мне не спится? Что-то во мне реально против этих пацанов.

– Эти пацаны умеют целиться и спускать курок. Хватит тебе жалиться, как мамка.

– Я тебе уже говорил: мне не нравится работать с таким числом людей, которым я не доверяю.

– Ты же их подрядил.

– Нет. Я их подрядил и ждал, чтобы ты сказал свое «да» или «нет». А ты набрал одних щеглов. Я тебе говорю: еще не поздно подогнать «Тек-9»⁸⁶, телеграфировать в Нью-Йорк Китаёзу.

– Да ну.

– Позвать Бычару, Тони Паваротти, Джонни...

– Да ну брось! Несешь, блин, бредятину, как идиот. На них же управы нет. Дай им шанс, так половина их в нужный момент разбежится, а другая еще и попытается тебя грохнуть. И это я слышу от главного думальщика Копенгагена? Еще раз говорю: с ними нет сладу. Ты вот не сидел, а как управлять людьми, так и не научился. Нам нужна пацанва, которая, когда я ей укажу идти налево, пойдет налево, а укажу направо – пойдет направо. Пацаны будут это делать, а мужики слишком долго будут мозговать, вот прямо как ты сейчас. Учти, все делается так: берешь щегла, обтесываешь, натаскиваешь, садишь на ноздрю да на иголочку, пока единственное-разъединственное, чего ему от тебя надо, – это чтобы ты говорил ему, что делать.

– Ты этому тоже в тюрьме научился? Думаешь, я не въезжаю, о каких таких щеглах ты говоришь? Да таких можно использовать всего на раз, ты понимаешь? Один раз – и всё, они конченные.

– А кто думает пользоваться их дважды? А? Кого ты думаешь пользоваться второй раз – Бам-Бама, что ли?

– Пацанву, бомбоклот, я не беру.

– Да пускай они попарятся в хибаре. Пропотеют, чтобы дурь вышла. Чтоб они из углов на четырех костях сползлись, воя, чтоб ты им сыпнул беленького. Вот погоди, сам увидишь, когда мы за ними придем.

– Так тебе стрелок нужен или зомби?

– Пусть посидят. Пусть попреют. Когда мы к ним придем, они будут готовы стрелять хоть в Бога.

– А ну, бля, не богохульствовать в моем доме!

– А иначе чё? Боженька на меня сверзится с громом и молнией?

– Или он, или я сам тебя шмальну!

– О. Ну, брат, это круто. Охолони. Шутки не понимаешь.

– За такие шутки знаешь, что бывает?

– Брат, опусти ствол. Это же я, Ревун. Мне ужас, брат, как не нравится, когда на меня наводят ствол. Даже в шутку.

– Я разве похож на шутника?

– Ну, Джоси...

– Нет, ты скажи. Скажи хоть об одной, бля, шутке, которую ты от меня слышал.

– Да ладно тебе, брат. Всё, хорошо: больше за Бога говорить у тебя в доме не буду.

Главное – остынь.

– И этих своих макак перестань в мой дом притаскивать.

– Ладно, Джоси, ладно.

– И не думай, что я при нужде не шмальну тебя своей рукой. Понял?

– Да понял, понял.

– А теперь вот сам сядь и расслабься. Я-то, пожалуй, пойду вздремну, а вот мы меж собой знаем, что ты не спишь уже самое малое третий день. Так что угомонись, устройся...

– Это тебе надо угомониться.

– Угомонись, я сказал!

⁸⁶ «Тек-9» – самозарядный пистолет шведского производства, популярный в преступном мире, в т. ч. благодаря возможности переделки для ведения автоматического огня.

Ревун кидается на тахту и думает залечь на нее с ногами, но тут видит мое лицо. Тогда он снимает обувь, кладет очки на столик и укладывается. Несколько минут лежит не шевелясь. Я потираю в руке ствол. Затем Ревун начинает хихикать, как девчонка. Все сильнее и сильнее. И наконец срывается в хохот.

– Что тебя, бля, снова на «хи-хи» проперло? Снова шутка?

– А ты не понял? Да ты и есть та гребаная шутка.

Я потираю в руках ствол, держа указательный палец у спускового крючка.

– Ты не обращаешь внимания, какую ересь начинаешь нести, когда тебе моча в голову бьет? Чем сильнее шибает, тем ты становишься несносней. Надо б тебе подточить язык еще острей, чтобы сподручней брить им задницу.

Он ржет так заразительно, что и я невольно начинаю смеяться вместе с ним, хотя мы с Ревуном не так уж много имеем общего и росли на разных улицах. Он поворачивается на тахте и теперь лежит ко мне спиной. Штаны у него слегка сползли, и над ними проглядывают красные трусы. Наверное, всякий раз, когда он трахает баб, безумство ему передается от них. У меня есть подозрение, что во время отсидки он подцепил какую-то болезнь, от которой у него теперь не все дома. Вскоре он начинает храпеть, громко, как в кинокомедиях. Этот сукин сын, дрыхнувший на моей тахте, назвал меня несущим бредятину идиотом. Сам-то двинутый вконец, однако все, что он мне сейчас сказал, имеет свой смысл – безумный, но смысл. Ох и неопрятная эта работенка: чистка после основного дела... Вместе с тем таких, как Тони Паваротти, к делу привлекать и вправду нельзя. Люди с такими навыками, они штучные, их приходится применять снова и снова. Инструмент многоразового использования. А есть такие, которые пользуешь раз – и всё, нужно уничтожать.

Барри Дифлорио

Семь пятнадцать. Мы застряли за «Фордом Эскорт», что уже десять минут пердит впереди черным дымом. Чувствуется, что у этой машины песенка спета, а мой старшенький Тимми в это время мычит другую песенку, подозрительно похожую на «Лейлу» (ей-богу!). Клэптоновскую лирику он нахмыкивает, сидя на переднем сиденье, где одновременно рулит тотальной мировой войной между Суперменом и Бэтменом (жена разрешила ему играть в игрушки до самых школьных ворот, но, выходя, он должен оставлять их в машине). Господи Иисусе, транспортные пробки третьего мира хуже всего на свете: машин тьма, а дорог как таковых нет. «Папа, цё за цёрт?» – спрашивает с заднего сиденья Айден, мой младшенький, и до меня только сейчас доходит, что я мыслю вслух. «Читай свою книжку, милашка, – говорю я ему и спохватываюсь: – То есть дружище. Или ты хотел услышать “мужчинка”?» Сынишка ставит меня в тупик. Корректно обозначать мужественность в четыре года – штука непростая.

Мы едем по Барбикану – объездной «карусели», единственное назначение которой, похоже, это направлять транспорт к супермаркету с несуразным названием «Мастерс». Сейчас дороги перегружены богатыми, развозящими своих чад по школам; многие направляются туда же, куда и я, к «Академии Хиллел». Я делаю поворот налево и проезжаю мимо женщин, не по сезону торгующих бананами и манго, а также мужчин, торгующих сахарным тростником. А еще «травкой» – если знать, как попросить. Не то чтобы я ее когда-либо просил. Задача резидента – проникнуться страной настолько, что начинаешь чувствовать ее пульс и внутреннее устройство лучше, чем те, кто в ней живет. Ну а затем можно и уезжать. Перед моим сюда прибытием Контора предложила, чтобы я прочел книгу В.С. Найпола «Средний путь: Карибское путешествие». Меня поразило, как автор мог вот так приземляться в какой-нибудь стране, находиться здесь считанные дни и выдавать на-гора то, что именно здесь обстоит не так. Однажды я отправился на пляж, о котором он писал, – во Французскую бухту, – ожидая увидеть там ленивых белых женщин и мужчин в темных очках и шортах-бермудах, прислуживают которым темненькие мальчики с подносами и в белых рубашках. Но волна демократического социализма, оказывается, докатилась и сюда, в бухту.

Мы поворачиваем направо. Поток транспорта иссякает, и мы едем наверх, мимо многоквартирных двух- и трехэтажек, из которых многие имеют необитаемый вид – не в том смысле, что все на работе и открыто всего несколько окон, а просто все хозяева взяли и свалили, вероятно, переживая выборы в безопасном месте. Такой вот финт ушами.

«Хиллел» расположена непосредственно у подножия гор. Рано или поздно жена возобновит допрос, почему мы живем в Нью-Кингстоне, а детей в школу приходится возить в такую даль, в эти горы? В ее словах есть логика, но признавать ее правоту на дню еще слишком рано. Мой старший выскакивает из машины, как только та останавливается на подъезде к воротам. Сначала я думаю: «Конечно, ведь тачка у меня недостаточно крутая», – но тут меня пробивает догадка. А сын уже почти проскальзывает в ворота.

– Тимоти Дифлорио! – кидаю я вслед как выстрел. – Стоямба!

Всё. Он понимает, что попался. Оборачивается с ангельским видом, и на лице невинно-изумленное: «*Это мне, что ли?*»

– Что случилось, пуль?

– Бэтмен. Ему здесь очень одиноко, одному на сиденье. Куда ушел Супермен?

– Выпал, наверное?

– Ну-ка возврати его на место, мой мужчинка. А иначе я тебя в класс отведу сам. И всю дорогу буду держать за руку.

По лицу сына видно, что для него такая участь хуже смерти. Он смотрит на своего младшего братишку, для которого, слава богу, держание отца за руку пока еще лучшее, что можно представить себе на свете. Тимми закидывает Супермена в машину.

– Да и ну его к черту.

– А ну-ка!..

– Извини, пуль.

– В машине, кажется, еще и твоя мама.

– Извини, мам, можно я пойду?

Я даю ему отмашку:

– Удачно справить Рождество, милашка!

Гримаса на лице сына стоит всей этой поездки. Жена на заднем сиденье только хмыкает. Ох, миссис Дифлорио, миссис Дифлорио... Я думал, она к этому времени хоть что-то произнесет, но жена прикована к какой-то статье в «Вог» – какой-нибудь ерунде, которую притащит на свой кружок вязания, чтобы добавить новый воротничок к своему любимому красному платью. Наверное, я излишне жесток. Она ходит в клуб книголюбов, а не на кружок вязания. Правда, с книгой я ее никогда не вижу. На переднее сиденье жена так и не пересаживается. Вместо этого она говорит:

– Наверное, Санта у них будет в красном бумажном колпаке и с наволочкой, полной дешевых конфет, а говорить будет с местным акцентом.

– Взгляни-ка на маленького фанатика папули.

– Перестань заговаривать зубы, Барри. Черных знакомых у меня больше, чем у тебя.

– Не знаю, как отреагировала бы Нелли Матар, узнав, что ты ее за глаза зовешь «черной».

– Ты не ловишь. Прошрое Рождество должно было быть последним, которое я встретила – *мы* встретили – в чужой стране.

– Бог ты мой. Мне казалось, эту сломанную патефонную пластинку я благополучно спрятал в надежном месте.

– Я обещала маме, что Рождество мы встретим в Вермонте.

– Ничего ты ей не обещала, Клэр, перестань. И ты забываешь, что твоей маме я нравлюсь на порядок больше, чем ты.

– Засранец, ну зачем мне такое говорить?

– Что с вами, женщины? Почему вы все время прикидываетесь? Ты когда-нибудь задумывалась, что эта твоя непрерывная долбежка в одно и то же место – не самый лучший способ добиться своего?

– Ой, извини. Должно быть, ты путаешь меня со Степфорд, твоей, гм, двоюродной женой.

– Мы сейчас как раз едем в ту сторону – может, заглянем?

– Пошел ты знаешь куда?..

В голову мне приходит как минимум с десятков вариантов ответа, в том числе провокационный, что у нас и секс-то был всего один раз, позавчера. Может, это как-то разрядит обстановку, или она оседлает проверенную тему, что я отношусь к ней свысока, или сменит предмет беседы. Хотя предмета, заметьте, по сути, никакого нет. На дворе третье декабря, и у меня голова загружена так, что просто нет никакой возможности уворачиваться от словесных залпов и очередей, которые жена пускает снова и снова. Каждый контраргумент, которым я реагирую, произносился мной до этого десятков раз, поэтому я затыкаюсь. Хотя знаю наперед, куда все это может привести. В молчании мы едем до самого пересечения шоссе Леди Масгрейв и Хоуп-роуд. На светофоре жена выскакивает и пересаживается на переднее сиденье.

– Чем там занимается Айден?

– Ключет носом в раскрытые страницы «Лоракса»⁸⁷.

– Угу.

– Что «угу»?

– Что «что»? Я, дорогая, между прочим, машину веду.

– Знаешь, Барри, мужчины вроде тебя требуют от своих жен очень многого. Очень. И мы на это идем. А знаешь почему? Потому что вы заверяете нас, что это все временно. Мы идем вам навстречу даже тогда, когда «временное» подразумевает, что каждые два года нам приходится искать себе новых друзей, просто чтобы не умереть со скуки. Мы миримся даже с недостатком внимания к детям, выкорчевыванием их без всякой нужды и смысла, причем тогда, когда они наконец-то наладили связи...

– Дети, связи?..

– Позволь мне закончить. Да, связи, которые ты, когда был ребенком, вряд ли приносил в жертву.

– Ты вообще о чем? Папик кантовал нас с места на место безостановочно.

– В таком случае неудивительно, что ты понятия не имеешь о том, что такое друзья детства. Единственно, за что я благодарна судьбе, так это за то, что я хотя бы в более-менее говорящей на английском стране. Для разнообразия. А то какое-то время я даже не понимала, что говорит мой сын.

Продолжение может быть о чем угодно – о нашем браке, о детях, о работе, об Эквадоре или об этой стране, чтоб ей ни дна ни покрывки; я сижу и помалкиваю. Вот эти словоизлияния моей супруги и доводят меня до бешенства, пока я не начинаю ощущать к ней белокаленную ненависть.

– Потому что в конце ты обещал, – говорит она в набранном темпе, – обещал нам, что по окончании этого нас ждет что-то достойное, даже если это означает больший запас терпения для твоей семьи. Но знаешь, кто ты такой, Барри? Ты лжец. Большой-большой лжец своей жене и детям, и все ради твоей работы, суть которой даже толком не ясна. Вот скажи, чем ты таким занимаешься? Ты, наверное, даже в этом не преуспел, потому что у тебя нет ни нормального стола, ни кабинета. Ты просто гребаный лжец.

– Прошу тебя, хватит.

– Прямо-таки хватит?

– Уймись, Клэр. С меня достаточно.

– Достаточно *чего*, Барри? А иначе *что*? Упечь нас еще на несколько лет, и теперь куда – в какую-нибудь Анголу? На Балканы, в Марокко? Если отправимся в Марокко, то клянусь Богом: загорать там я буду без купальника.

– Хватит, Клэр.

– Хватит, говоришь? А иначе *что*?

– А иначе вот этот самый кулак влетит тебе между глаз так быстро, что вылетит из затылка и прошибет к гребаной матери стекло у тебя за головой!

Она сидит так, будто на меня не смотрит, но и на дорогу тоже. Такое происходит нечасто – напоминание, что ее муж когда-то ради заработка, возможно, убивал, – так что препирания временно прекращаются. Я мог бы ее так и оставить – по крайней мере, жил бы какое-то время в покое. Это тычок ниже пояса – опускание в страх, который каждая агентская жена испытывает перед мужем. Будь я любитель раздавать подзатыльники, быть может, весь остаток жизни она страдала бы молча и все было бы побоку даже ее гребаному папаше. Но тогда она будет не только бояться меня, но еще и передаст этот страх моим детям. И тогда я стану как другие; как Луис Джонсон, который, я слышал, регулярно поколачивает свою жену... Нет, надо все-таки дать ей возможность выйти из этого клинча.

⁸⁷ «Лоракс» – детская книжка американского писателя Доктора Сьюза.

– Еще не хватало загорать без купальника. Знаешь, кто ты тогда будешь? Белая деваха, создана для траха. Валерьянка для похотливых марокканских котов.

– Прекрасно. Теперь ты еще и выставлешь свою жену за шлюху.

– А что? Твоя новая стрижка очень даже сексуальна, – говорю я.

И опять у нее пошло-поехало. Ничто не заводит ее больше, чем ощущение, что ее игнорируют. Слышно, как ее голос набирает громкость. Меня подмывает сказать: «Кушайте на здоровье», но вместо этого я оборачиваюсь и вижу его, выскочившего словно из ниоткуда. *Его дом*. Всякий раз я проезжаю мимо него, но при этом, кажется, я ни разу в него не вглядывался. Этот дом – один из тех, что располагают историей. Я слышал, что дорога Леди Масгрейв появилась оттого, что эта пожилая аристократка пришла в такой ужас, узнав, что на ее маршруте воздвиг себе особняк темнокожий, что проложила к себе отдельную дорогу. Расизм в этих местах жгуч и вязок, но при этом настолько неуловим для посторонних, что невольно возникает соблазн проверить на него коренного ямайца – просто посмотреть, ощутит он его или нет. А вот дом Певца так и стоит.

– Ты его что, собираешься куда-то подвозить?

– Что? Кого?

– Ты уже минуту с лишним стоишь у его дома со включенным мотором. Кого мы ждем, Барри?

– Даже не знаю, о чем ты. И откуда ты знаешь, чей это дом?

– Время от времени я все-таки выбираюсь из пещеры, в которую ты меня заточил.

– Не думал, что тебе есть дело до какого-то... необузданного взьерошенного дикаря.

– Барри, ты прямо как моя мать. А мне, между прочим, нравятся необузданные и взьерошенные. Он как Байрон. Байрон – это...

– Клэр, перестань держать меня за неуча.

– Необузданный и дикий. Он подобен черному льву. Вот бы мне немного такой дикости... Но у меня, увы, за плечами университет. Нелли считает, что на нем отменно сидят кожаные штаны. Просто *реально* отменно.

– Напрашиваешься, чтобы я тебя приревновал, милая? Считаю, что основания для этого уже есть.

– Милый, я у тебя ни на что не запрашивалась вот уже четыре года. Ты только вдумайся: Нелли сказала, что сегодня вечером в честь предстоящего концерта у него в доме прием, и она...

– Не смей туда сегодня ходить!

– Что? Это почему же? Мне никто не указывает... а ну-ка постой. Что ты сказал?

– Не ходи туда.

– Нет. Ты сказал: не ходи туда *сегодня*. Ты что-то знаешь, Барри Дифлорио.

– Понятия не имею. О чем ты?

– Вопросы с моей стороны не позвучало. В той же части, где ты изъясняешься полумаками, чтобы я была тише воды ниже травы, позволь мне сэкономить твои усилия: мне нет до них дела. И, Барри...

– Ну что опять, Клэр? Что опять?

– Ты проехал левый поворот на парикмахерскую.

Жена думает, что домой хочется только ей. А мне, думаете, не хочется? Да я даже вкусовыми рецепторами ощущаю, как хочется! Только разница в том, что я уже заранее знаю: возвращаться нам некуда. Во всяком случае, там нет дома в его прежнем смысле. При этом мы оба забыли, что в машине вместе с нами едет малыш Айдэн.

Алекс Пирс

Вот ведь странно: пытаешься заснуть; пытаешься так, что довольно скоро понимаешь, что ты фактически *работаешь* над тем, чтобы уйти в сон, – но в итоге по-настоящему так и не засыпаешь, потому что в таком случае это уже не сон, а работа. От которой довольно скоро нужен перерыв.

Я открываю задвижные ворота, и открывается вход транспорту. Проблема Нью-Кингстона в том, что он очень уж далек от регги. У меня никогда не было этой проблемы, когда я останавливался в центре, где всегда кипела музыка – какой-нибудь там джем-сейшн или концерт. Но, черт возьми, брат, это семьдесят шестой год; уже почти семьдесят седьмой. Люди из посольства, которых я даже не знаю, начали наущать меня после определенного часа не спускаться ниже Перекрестка – люди, что живут здесь уже пять лет, но которые все еще вспотевают до полуденной поры. Нельзя доверять тому, кто говорит тебе, как им понравилась твоя колонка о «Муди блюз». О гребаном «блюзе мудей» я никогда ничего не писал, ни абзаца. И даже если б я это делал, оно никогда бы не было нацелено на то, чтобы прийти по душе какому-то козлине.

Сон все не идет, поэтому я натягиваю джинсы с майкой и спускаюсь вниз. Нужно все же выкурить эту самокрутку. Женщина на ресепшене дрыхнет, так что я выскальзываю до того, как она выдает мне дежурное предупреждение для всех белых: уходя, двери за собой запираешь на замок. Снаружи веет облипающей со всех сторон духотой. Комендантский час все еще действует, так что ощущение такое, будто можешь нарваться на неприятности, но на самом деле все тихо-мирно. Вот тебе и чудесный островок свободы среди ночи: водитель такси, читающий «Стар» в припаркованной на стоянке машине. Я спрашиваю, может ли он отвезти меня в какое-нибудь место среди города, где все еще идут «скачки». Он смотрит на меня как на какой-то знакомый ему типаж, хотя, наверное, джинсы на мне слишком уж в обlipон, волосы чересчур длинные, а ноги чересчур тонкие, так что по виду я не какой-нибудь жирный факер в майке «Отъямай меня Ямайка», прибывший сюда оттянуться и ублажить свой хрен.

– Думаю, партнер, отель «Мейфэр» сейчас на замке, – говорит таксист, и винить его в этом нельзя.

– Не-не, кореш, я не из тех белых, что ищут, куда сбежать от черных. Ты можешь меня подкинуть куда-нибудь туда, где сейчас идет реальное гульбище с музоном?

Он смотрит на меня пристальней и даже складывает газету. Буду лжецом, если скажу, что это не есть одно из самых сильных ощущений на свете: обычно неподвижный и бесстрастный ямаец вдруг шевельнул для тебя задницей. Он смотрит так, будто перед ним первое живое существо, которое он повстречал за ночь. Это, безусловно, тот момент, который по глупости портят 99,9 % американцев, опрометчиво взволновавшись тем, что приглянулись аборигену Джемдауна (черта с два, если вы вначале не прошли у него тест на «кипеж под регги-ритм»).

– С чего ты взял, что где-то есть открытые места? Комендантский час, брат мой. Так заведено, закон на это строгий.

– Да брось ты. Это в фанкующем-то Кингстоне? Да даже комендантский час не запрет этот город на замок.

– Проблем ищешь на свою голову?

– Да нет же, наоборот, пытаюсь от них удрать.

– Если что, я тебя об этом не спрашивал.

– Ха. Ну так поехали куда-нибудь, где пыль до потолка, неважно, комендантский там час или нет. Ты мне говоришь, что весь этот город заперт на замок? Это в пятничный-то вечер? Не пудри мне мозги, мистер.

– Пятничное утро, – поправляет меня таксист.

Он еще раз оглядывает меня сверху донизу. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать: «Послушай, кореш, я лишь *смотрю* как тупой турист».

– Ну ладно, – вздохнув, делает он взмах рукой. – Прыгай в машину, поглядим, что можно для тебя найти. Только по главной дороге не поедem, чтобы фараоны не остановили.

– Рок-н-ролл.

– А вот это ты скажешь, когда прокатишься по нашим выбоинам, – усмехается он.

Мне хочется сказать: «Кореш, я бывал в “Розовом городе”, но это одно из заблуждений белых – гордиться, что побывали на Ямайке в местах, которые самим ямайцам абсолютно не глянутся». Он повез меня в «Вертушку» на Редхиллз-роуд – как раз одна из тех улиц, насчет которых консьерж в отеле дает четкое предупреждение об ограниченности часов, в течение которых лицо европеоидного происхождения (ей-богу, ее слова, не мои) может чувствовать там себя в безопасности. По пути мы проехали сквозь строй парней, жарящих курятину на бочках из-под соляры; дым от этих своеобразных жаровен шлейфом стелился через дорогу. В припаркованных у обочин машинах сидели мужчины и женщины, уплетая эту вкуснятину с мягким белым хлебом, блаженно улыбаясь и прикрыв глаза: а вот попробуйте, заполучите такое удовольствие в три часа ночи! Таких слов, как «комендантский час», здесь как будто слыхом не слыхали. Было бы забавно тормознуться в «Вертушке», учитывая, что последний раз я здесь был, когда пас Мика Джаггера. Тот тогда с ума сходил от местного колорита и от вида жопастых танцовщиц, одна смазливей другой и все, как одна, его любимого цвета – темный шоколад. Таксист спрашивает, бывал ли я когда-нибудь в «Вертушке», чем ставит меня в двойственное положение: я не хочу задирать носа, но вместе с тем не хочу и казаться невеждой.

– Да пропархивал пару раз. А кстати, как там поживает «Цилиндр»? А «Зуб за зуб» взял и перебрался вверх по улице – как так получилось? Помню, видел, как там один тип нажрался, смешав ром с коксом, и чуть не отдал концы в туалете. Хочешь, брат, правду? Только между нами. Мне всегда был ближе «Нептун». «Вертушка», сдается мне, как-то мягчает. К тому же там все заполонило диско, а я его терпеть не могу.

Таксист смотрит на меня в зеркальце так долго, что просто удивительно, как он до сих пор ни во что не врезался.

– А ты изнанку Кингстона, я вижу, знаешь, – говорит он.

Это меня слегка дезориентирует. «Нептун» мне особо никогда не нравился, а насчет «Цилиндра» я брякнул просто так (готов, кстати, поспорить, что раньше он назывался «Тип-топ»). Если отбросить миф о Мике и Ките, то «Вертушка» стала обыкновенным вертепом, над которым кто-то забыл повесить красный фонарь. Клуб набит под завязку публикой, понятие комендантского часа к которой относится чисто условно. Здесь я взял пива, а через минуту-другую меня кто-то легонько постучал по плечу.

– Я буду занимать тебя беседой, пока ты изо всех сил будешь вспоминать мое имя, – сказала она.

– Ты всегда такая умная?

– Нет, просто чтобы облегчить тебе задачу. А то здесь вон сколько темнокожих женщин.

– Мне кажется, ты себя недостаточно ценишь.

– Я себя ценю как надо. Ну а ты со своей стороны? Долго мне от тебя «Хайнекена» ждать?

И далее в таком ключе, пока я не просыпаюсь предрассветной порой, а рядом в постели лежит она – не храпит, а лишь глубоко и ровно вдыхает и выдыхает. Кто знает, может, так

во сне дышат все ямайские женщины, просто под гнетом необходимости. Не помню, когда и как она ко мне подлезла, и не делал ли я с нею что-то, чего она мне больше не позволит. В попытке ее разбудить я начинаю ворковать: «Милашка, ну давай же...» Я знаю, как вести себя с ямаиками; блин, да и вообще с иностранками. Им нужно давать вести себя за собой. А город этот в самом деле классный. Два года назад один из музыкантов «Крим» угодил в каталажку, когда одна поклонница с Бермуд завопила «насилуют!», хотя он, по его словам, всего лишь предложил ей трахнуться на французский манер. Эту севшую рядом особу я запомнил. Ямаечка, которая рассказывала, что всякий раз, когда хочет вкусить колорита гетто, отправляется в Бруклин. Помнится, я тогда безудержно хохотал. Темная-темная кожа, прямые-прямые волосы и голос, который никоим образом нельзя назвать нежным. Ну никак. Разумеется, в ту ночь мы с ней спали, а до этого оба ходили на концерт «суперсоул», где жуткую скуку на всех нагнали «Темптейшнз», и ни ей, ни мне не было прикольно. Сказать по правде, видеть ее в «Вертушке» стало для меня большой радостью. Хотя прошел год.

– Ну что, вспомнил имя? – спросила она, когда мы вышли наружу к такси (я и не знал, что оно меня ждет). Таксист кивнул, хотя непонятно, одобрительно или наоборот. – Я спрашиваю, вспомнил или нет?

– Нет, но ты жутко напоминаешь мне девушку, которую, я знаю, звали Аиша.

– Водитель, в каком отеле он живет?

– В «Скайлайн», мисс.

– А. Ну так, значит, там простыни чистые.

Она спит на моей постели, а я, абсолютно голый, стою и смотрю в зеркало на свой живот. И когда он успел стать таким рыхлым? Вот у Мика Джаггера вообще живота нет. Я включаю радио и тотчас слышу, как премьер-министр бравым голосом объявляет по стране двухнедельную готовность к выборам. Черт, как все неоднозначно... Я прикидываю, что сейчас думает Певец, ангажированный правительством гнать положительную волну в преддверии своего концерта. Ну а как оно еще могло быть, когда вожди третьего мира упиваются своей значимостью на фоне общего энтузиазма? Все очень к месту. Мне предстоит обед, а точнее кофе, с Марком Лэнсингом. Прошлым вечером я неожиданно столкнулся с ним в вестибюле отеля «Пегас», после очередного обрыва электричества. Спустился за куревом, но магазинчик внизу уже закрылся, и я потопал в «Пегас» – и кого, вы думаете, я там увидел в холле, причем с таким видом, будто он специально ждет с кем-то свидания? Вот-вот, именно его.

– Ну, как дела у нашего Антониони? – спросил я, а он два раза хихикнул, не зная, отвечать всерьез или шуткой.

– Занят донельзя своим собственным проектом, хотя предложения тоже поступают, – сказал Марк Лэнсинг.

Я был не прочь спросить его, что он думает о внезапном объявлении насчет выборов, но его наверняка бы ошеломили мои серьезные вопросы о политике. И в ответ он или сморозил бы какую-нибудь фигню, или стал расспрашивать, зачем мне все это, когда я всего лишь пишу для музыкального еженедельника, который он, по его словам, регулярно читает.

В какой-то момент я проронил, что мне бы очень хотелось улучшить полчаса с Певцом; или же он об этом от кого-то слышал, потому что чувствовал, что мне от него что-то нужно. Я помню, помню в точности его слова: *«Бедолага ты наш. Может, я что-нибудь и смогу для тебя сделать»*. Я не послал этого козла на три эротических направления только потому, что, как ни странно, мне в эту секунду было его жаль. Ведь этот лузер годами ждал и грезил, что окажется на высоте положения.

И вот сегодня мне предстоит с ним обедать, с тем чтобы он поведал, как ему крутейше предстоит отснять Певца своей дорогушкой камерой (слово *крутейше* звучит у него с нарочитым смаком). О том, что камера дорогушая, он мне сказать не преминул, но марки и модели

не назвал, думая, наверное, что я в этом все равно не смыслю. Гребанный кретин так, наверное, и заснул с глупой ухмылкой на губах, говоря про себя: «Глянь сюда, мазафакер: я в кои-то веки круче тебя».

Ну, а мне пока нужно по-быстрому перехватить кофе, после чего я уж задам жару Аише. Она еще спит, но скоро ей точно будет не до сна.

Папа Ло

Люди вроде меня любят вести разговоры, все это знают. Мы ведем беседы с Певцом, потому что он тоже любитель поговорить, и даже когда берет гитару и выщипывает из нее всякие «измы» и «шизмы», беседа все равно не прерывается. И даже когда он рифмует «измы» с «шизмами», то все равно ждет, когда ты ему что-то на это скажешь, ведь у нас беседа. Так-то. Регги – это не более чем разговор человека, его беседа с другими, обсуждение, перетирание туда-сюда, я бы так сказал.

Но вот в чем дело. Кто-то разговаривать не любит. И точно так же, как человек, любящий поговорить, составляет пару с человеком, тоже любящим это дело, так и тот, кто не разговаривает, сцепляется с таким же, как он. Человек, кто склонен тихушничать, вяжется с таким же тихушником. Идешь, бывало, на вечеринку – вечеринку для своих – и видишь, как Джоси Уэйлс притягивается к кому-то или, наоборот, к нему кто-то притягивается, и они оба помалкивают эдак со значением. Тихушничают. А вот нынешняя ночь выдалась особенно жаркой, без луны, и день пока едва родился. Я задремываю всего на час, а просыпаюсь с беспокойством в душе. Вот уже давно, даже слишком, в моей голове заперто что-то, что должно выйти у меня изо рта. Если б я был писатель, оно излилось бы у меня на бумаге. А если католик, то раскатилось бы по всей исповедальне.

Моя женщина похлябала на кухню вскипятить чаю и сготовить тушеную свинину с бататом. Она знает, что именно я люблю, и посмеивается, когда я ворчу на нее насчет ее ночных всхрапываний и бормотаний. «Когда я издаю ночью другие звуки, ты почему-то не жалуешься», – говорит она и аппетитно виляет задом в сторону кухни. Я успеваю дотянуться и шлепнуть по нему, а она оборачивается и говорит: «Смотри у меня, скажу твоему другу-певцу, что ты втихомолку уминаешь свинину». Секунду я думаю, что она серьезно, но она смеется и уходит, напевая «Свиданьице с любимой». Некоторых мужчин женщины так и не могут отучить от того, чтобы они хватались за других баб. Моя смогла. Но даже она ничего не может поделать с беспокойством в моей душе. Она может сделать еду вкуснее, нежней погладить меня по голове; знает, когда сказать людям: «Сегодня возле дома не ошивайтесь и Папу не тревожьте»; но она знает, что не в ее силах найти слова, которые успокоят мой дух.

Может, потому, что на дворе декабрь. В конце концов, лишь прочитав Книгу Бытия, можно дойти до Откровения, не так ли? Вход в декабрь заставляет меня размышлять о январе. И не только потому, что ННП развалила страну. Всем известно, что на Ямайку просочились коммуняки. Сюда приезжает все больше и больше кубинцев, но никто не задумывается, что все больше и больше ямайцев уезжает *туда*. А приезжают они к нам с таким умением обращаться с «АК-47», будто с ним в руках и родились. Или взять школу, что строится в Сент-Кэтрин: ни один из строителей толком не говорит на английском. А затем, не успел сам Бог спросить: «А ну-ка, минуточку, что здесь происходит?», как каждого второго врача в больницах уже кличут Эрнесто или Пабло. Но январь отнимает что-то от меня и отдает Джоси Уэйлсу. И на сегодня это знает каждый.

В первых числах декабря, еще не дав мне какой-нибудь работы, денег или еще какого ни на есть подношения к Рождеству, Питер Нэссер отправил мне послание. Он сказал: «Передай своим людям, чтобы к Новому году и далее заготавливали больше бананов, жарили больше ямса, пекли больше картошки и настаивали больше рома, а вот пирожки во фритюре жарить перестали бы, и вообще забыли о мучном». Я даже не упомяну от него добрых слов – да что там, не помню даже, как эта записка пришла к нам и разошлась. Возможно, и вообще не узнал бы, кабы не птичье радио.

Впервые это случилось тридцатого декабря. Второго января еще трижды. Ну а затем, двадцать второго, Господь оставил Сен-Томас. У тринадцати человек, родных и близких,

разболелась голова, начались рвота и судороги, кое-кто ослеп. Они не переставая срали и срали, падали в обморок, приходили в себя и снова отключались, трясясь так, будто Бог порази их молнией. И даже уже мертвые, они продолжали срать и трястись трясом. А умерли все в один и тот же день после одного и того же обеда. Молва разнеслась, как полиомиелит в шестьдесят четвертом; многие от испуга попрятались. «В му́ке, в му́ке, в му́ке!» – звенела тревожная весть. В муке таится смерть, и это отпечаталось на сердцах семнадцати человек. На следующий день министр здравоохранения заявил, что уцененная мука, прибывшая на Ямайку немецким кораблем, отравлена гербицидом под названием «тещин яд». Однако Ямайка с ядом знакома; он был здесь под запретом еще до того, как на экраны вышли «Одиннадцать друзей Оушена»⁸⁸.

Питер Нэссер объявился в январе. Он, как всегда, обнял меня, но вопросы задавал Джоси Уэйлсу, насчет того, как поживает с новым аккумулятором его «Датсун», и меня удивило, что ему до этого есть дело. А со мной он разговаривал тоном иным, чем с Джоси Уэйлсом. Насчет того, что МВФ – это сокращенно от «Мэнли Виноват во Фсём», потому как не может не то что спасти страну или защитить ее, а хотя бы контролировать. Забавно, что с Джоси он говорил об аккумуляторе, его девице и приглашал во вторник повстречаться на стендовой стрельбе, а со мной вел речь о политике. Я рассказывал Джоси Уэйлсу, Китаэзу, Ревуну и еще кое-кому, что некий белый бизнесмен и политик приезжали удостовериться, что премьер-министр способен руководить страной. А когда проверка закончилась, они уже даже не были уверены, что он способен руководить хотя бы Кингстоном.

Никогда не нужно было отдельно убеждаться, что ННП делает хоть что-то для кого-нибудь, кроме как для себя самой. ЛПЯ пришла в гетто без упрасиваний – в пятидесятых, когда я еще занимался школой, – и превратила тот клоповник в здание вроде того, что кажут по телику в комедийных «Добрых временах». Затем построился Копенгаген, и моя мать впервые в жизни узнала, что такое отдельная ванна. Вокруг шла только болтовня, и ННП пришла в эти места только после того, как построился Копенгаген, и наспех возвела эту хрень под названием Восемь Проулков. И эти самые проулки она заселила только людьми от ННП, чтобы противостоять нам, однако здесь стрелять умеет каждый дурак. Но кто выигрывает Западный Кингстон, тому достается Кингстон, а кто выигрывает Кингстон, тому достается Ямайка. И в семьдесят четвертом году ННП выпускает из Джунглей двух зверей, звать которых, соответственно, Бантин-Бэнтон и Тряпка. Западного Кингстона ННП не видать – это было и остается фактом, – и тогда они создают препятствие: строят целый новый район и называют его Центральным Кингстоном, загрузив его, само собой, своими людьми. Кого они туда сажают? Само собой, Бантин-Бэнтон и Тряпку. До них, этих двоих, война в гетто всегда была войной ножей. Их банда насчитывала три десятка человек, и они рассекали по Кингстону на черно-красных мотоциклах – ж-ж-ж, ж-ж-ж, как стая шмелей. И когда Бантин-Бэнтон и Тряпка напали на нас прямо на похоронах, мы сразу поняли, что игре теперь заданы новые правила. Сейчас народ толком не углубляется, кто все это начал, и из приличия историю гетто не ворошат. А между тем начали все как раз Бантин-Бэнтон с Тряпкой. И вот когда в семьдесят втором году выборы выиграла ННП, тогда весь этот ад и разверзся.

Сперва они повыгоняли наших с работ, которые были под нами уже четыре года. Затем начали вытеснять нас из города, будто мы какая-то шпана, а они – Уайатт Эрп⁸⁹. Стали даже совершать нападения; один раз даже искрошили активиста, связанного с их собственной партией, потому что он сказал рабочим забастовать. Затем в прошлом году, примерно об эту же пору, к офису ЛПЯ на Ретайрмент-роуд подъехал белый фургон и просто встал. Он загородил собой обзор, и тут они взялись как из ниоткуда, эти пчелы-убийцы; банда Бэн-

⁸⁸ «Одиннадцать друзей Оушена» – кинофильм 1960 года, поставленный Л. Майлстоуном.

⁸⁹ Уайатт Эрп (1848–1929) – американский страж закона и картежник времен освоения американского Запада.

тона и Тряпки прижужжала на своих моциках. Они покрушили мебель, изорвали документы, испинали мужчину, излупцевали женщину, изнасиловали обоих и унеслись. И что примечательно, никто из бандитов не вымолвил при этом ни единого слова.

Но банда эта была из одних трусов. Они никогда не осмеливались явиться в Копенгаген, тронуть кого-то из главных – так, тяпали да кусали за пальцы рук и ступней, пока я не сказал Питер Нэссеру, что настало, наверное, время спящему гиганту пробудиться. И вот тогда, когда мы свели счеты с их Шестым проулком, все бабы там подняли вой на всю округу, потому что никогда им еще не доводилось сгребать мозги обратно в черепа убитых сыновей. А с Седьмым Прулком мы разделались так, что после нашего ухода там из тех, кто шевелится, оставались лишь ящерицы.

Но они там у себя возомнили, что рулят ННП. Партия устроила им поездку на Кубу. Тряпка, кликуха у которого из-за того, что он растафари и растрепанные дреды у него напоминают ветошь, тоже полетел на Кубу и встретился там на банкете с самим Фиделем Кастро. И надо ж было так случиться, что никто из братии не предупредил его, что там у них национальным блюдом является свинина. Тряпка тогда разгневался, прямо как Христос в храме, где иудеи устроили базар. Перевернул даже стол Кастро. Тряпка стал проблемой даже для своей партии. Вот тогда-то человек, зовущий себя Жрецом, – единственный, кому позволено ходить по территории и ЛПЯ, и ННП, – этот самый Жрец мне и позвонил. За тем гаде-нышем я отправился сам, сказав Китаёзу прийти в бар «Стэнтон», по-тихому, и устроиться где-нибудь у места, откуда выбегают девки, поругиваясь и хватаясь за свои попки, титьки и письки. Китаёз умеет снимать людей одним выстрелом, так что когда он подходит сзади и говорит «вот вам, гады», то бьет в затылок наповал так быстро, что женщины рядом поднимают крик только после третьего выстрела, когда в одну и ту же дырку влетают три пули и на всех фонтаном хлещет кровь. После шестого выстрела Китаёз исчезает как сквозь землю.

В марте семьдесят пятого Шотта Шериф оставил записку в церковной Библии, когда в церковь должен был прийти Бантин-Бэнтон. Прямо там, на Дарлинг-стрит, по пути, где Бантин должен был навеститься к своей женщине, всего в трех домах от моря, следом за его машиной причалил Джоси со своими людьми, и они изрешетили машину Бантина так, что сдох даже двигатель. Похороны Бантин-Бэнтон были целым событием; говорят, на них стеклось тысяч двадцать человек. Сколько именно, говорить не берусь, но точно знаю, что туда приезжали зам премьеры и министр труда.

Но это был семьдесят пятый, а сейчас на дворе декабрь семьдесят шестого, и один год впору сравнить с целым столетием. Потому что каждый человек, что сражается с монстрами, в итоге сам становится монстром, а в Кингстоне есть по меньшей мере одна женщина, считающая меня убийцей всего, имя чему «надежда». Люди думают, что я теряю силы оттого, что переживаю из-за убийства по ошибке школьника, но им невдомек, что теряюсь я оттого, что, казалось бы, должен переживать, но не переживаю. А сейчас моя женщина зовет меня: «А ну-ка, большой босс, иди давай за стол, еда готова».

Нина Берджесс

– Алё?

– Ха! Хвала всемогущему Джа: ты наконец-то продрала глаза. А я, между прочим, сестрёна, третий раз тебя набираю.

Моя сестра Кимми. Всего два предложения, а уже корчит из себя жительницу гетто. Встало ли уже солнце? Неизвестно, отчего я проснулась – от звонка или чтобы это узнать.

– Намаялась за день.

– Рассказывай. Тусила небось напропалую... Слышишь меня? Тусила, говорю, напропалую! А не спросишь меня, что тебе за это причитается?

– Я уже знаю.

– Ты уже знаешь, что тебе причитается?

– Нет. Знаю, что ты мне сейчас это скажешь.

– Ха. Ну у тебя нынче, сестрён, шестеренки в голове крутятся дай бог. Шустренько. Я даже не привыкла к такой твоей сообразительности. Должно быть, сказывается утренний воздух.

У Кимми заведено звонить мне как можно реже, с той самой поры, как она знается с Расом Трентом, сказавшим ей сводить контакты с узниками вавилонской шитстемы к минимуму. Сам он этих контактов избегает, каждые полтора месяца срываясь в Нью-Йорк. Кимми все дожидается визы, чтобы поехать туда к нему. Казалось бы, сын министра иностранных дел мог бы спроворить визу своей королеве. Но он об этом словно специально не догадывается; хоть бы раз предложил. Впрочем, на Ямайке продается решительно все, в том числе и американская виза, так что, может статься, это лишь дело времени. А впрочем, ладно, у меня сегодня дела.

– Чем могу помочь, Кимми?

– Я тут думала на днях... Что ты знаешь о гарвиизме?

– Ты звонишь мне, э-э...

– Без пятнадцати девять. Без пятнадцати, Нин, без пятнадцати. Девять.

– Девять. Вот черт! Мне ж на работу.

– Никакой работы у тебя нет.

– Но в душ-то все равно надо.

– Так что ты знаешь о гарвиизме?

– Это что, радиовикторина? Алё, я в эфире?

– Не хохми давай.

– Тогда что это за хохма – будить меня спозаранку только затем, чтоб преподать урок обществоведения?

– Вот. И я о том. Для тебя это как будто пустой звук. Потому-то белые вас так и держат под прессингом, хотя при слове *Гарви* уши у тебя должны наостряться, как у собаки.

– Ты говорила сегодня со своей матерью?

– Она в порядке.

– Это *она* тебе так сказала?

– Мамушке нужно затачивать свою жизнь под борьбу. Только тогда она сможет реально выбраться из-под пресса шитстемы, как народ.

От Раса Трента Кимми понахваталась мудреных словес – вербальный инструментарий, которому научают англичане, – чтобы перед кем-то ими козырять, пулять, как перец в глаза. Растафарианство с негативизмом не имеет ничего общего, и поэтому слово «угнетение» фигурирует у нее как «прессинг», хотя такого слова в языке и нет. «Посвящать» у Кимми звучит как «затачивать» – бог знает, что вся эта абракадабра значит, но звучит так, будто кто-

то пытается создать свою собственную троицу, но забывает имя третьего в ней. Что это за фижня, сестрёна, насчет которой ты меня пытаешь? И слишком уж много труда уходит на то, чтобы ее запомнить. Но ничто не вызывает у Кимми такой симпатии, как непомерные усилия, которые на это тратятся. Особенно в то время, как Рас Трент, возможно, ищет себе другую женщину – не королеву, как Кимми, но такую, которая будет запросто посасывать ему конец и, может, полизывать анус так, чтобы его «о нет, о нет» переходило в сладострастное «о мине-ет» – все это с киской, при которой ему необязательно умничать. Кимми хочет чего-то конкретного, но все никак не спрашивает, предпочитая, вероятно, выудить это в ходе разговора. Что же касается этого утреннего звонка, то кто знает – может, она просто хочет утвердиться, ощущать себя лучше, чем кто-то другой, а мой номер – одна из немногих комбинаций в восемь цифр, которые она в силах запомнить.

– Я бы назвала его национальным героем.

– Ну вот, по крайней мере, это ты знаешь.

– Он хотел, чтобы темнокожие в конечном итоге вернулись обратно в Африку.

– В каком-то смысле. Но хорошо, хорошо.

– Он был вор, который купил корабль, не способный никуда плыть, но, возможно, не единственный национальный герой, который был воров.

– Так, так. Кто тебе сказал, что он вор? Знаешь ли, оттого, что темнокожие никак не могут пойти путем прогресса, они предпочитают называть ворами своих соплеменников.

– Я и не знала, что настоящее имя Маркуса Гарви – Берджесс. Или Берджесс – это наша настоящая фамилия?

– Вот так ты и говоришь. И это в точности то, что, по его словам, говорят люди вроде тебя.

– Люди вроде меня?

– Необязательно вроде *тебя*. В целом люди, блуждающие во тьме. Выйди из тьмы и иди к свету, сестрёна.

Я могла бы ее заткнуть, но Кимми, как и Рас Трент, с тобой, по сути, не разговаривает. Ей нужен лишь свидетель, а не слушатель.

– Ну а почему звонить мне, если ты уверена, что я не единственная, кто блуждает во тьме? Могла бы набрать кого-нибудь из подружек по твоей супер-пупер-школе. Типа того.

– Сестрёна, если революция когда-нибудь произойдет, то она должна вначале произойти у тебя дома, ты вникаешь?

– Да? А дом Раса Трента, по-твоему, уже освобожден?

– На нем свет клином не сошелся. У меня есть и своя собственная жизнь.

– Разумеется. А сошелся он на Маркусе Гарви.

– Куда, по-твоему, движется твоя жизнь? Все вы, темнокожие, мечетесь, как безголовые куры, и даже не знаете, почему у вас нет направленности. Ты хотя бы читала «Душу на льду»? Или на сколько с тобой поспорить, что ты не читала ни «Брата Соледада», ни «Как Европа подсидела Африку»?

– Какая ты начитанная... Всегда такой была.

– Книжки, они для мудрости. А бывает, что и наоборот.

– Проблема с книгой в том, что никогда не знаешь, куда она ведет, пока в ней не заблудишься... Ну ладно, мне пора в душ.

– Да зачем? Тебе все равно идти некуда.

«А шла бы ты, милая, лесом? Понести от Че Гевары мне не удалось – у него на меня не встал, – так что не попробовал ли накрыть революцию своей вагиной?»

Эти слова едва не срываются с моего языка, но тают там, как сахарная пудра. Я твержу себе, что терплю Кимми, потому что, если б я заговорила с ней таким тоном, как она со мной, она бы не пережила этого. Не перевариваю людей, которых приходится оберегать в то

самое время, как они стремятся ужалить тебя побольней. В глубине души она все та же девчонка, которая больше всего на свете любит нравиться, а для себя по-детски желает родиться в нищете и бороться, бороться, чтобы со всей полнотой ощущать ненависть к обитателям Норбрука. Но когда-нибудь она доиграется, оттолкнув меня слишком далеко или, наоборот, недостаточно сильно. Я продолжаю внушать, что у меня на нее нет времени, хотя кто, как не я, ездила с ней на одно из тех собраний двенадцати племен растаманов (не помню, когда конкретно, но, наверное, в ту самую неделю, когда мы отправились на вечеринку в дом Певца).

Всю дорогу туда она, перекрывая тарактенье «Фольксвагена», громко вещала о том, что мне надо делать, а что не надо, и чтобы я, чего доброго, не заставила ее краснеть своей неотесанностью. Голосом, скачущим и срывающимся на выбоинах, она наущала, что, когда я въеду в состояние, меня поглотят позитивные вибрации и я заточусь под борьбу за освобождение чернокожих, свободу Африки и Его императорского величества⁹⁰. Или же, может, я уже слишком погрязла во зле и порочности, чтобы меня обуяло хоть что-то позитивное, потому как истинный растафари начинает с того, что распаляет в себе огонь, огонь глубоко внутри, который не загасить стаканом воды, и нельзя пассивно ждать, пока он испарится из твоих пор, словно пот, а необходимо прорвать в своем уме брешь, чтобы он неистово вырвался наружу.

– Ты мне что, об изжоге? – пошутила я последний раз за вечер. Кимми на это удостоила меня взгляда, который она или унаследовала, или переняла от матери; что-то вроде «я, признаться, ожидала от тебя большего».

– Хорошо, что ты хотя бы одета как приличная женщина, – сказала она на самый нудный прикид, который я только смогла сыскать: лиловая юбка до лодыжек, шуршащая при ходьбе, и белая рубашка внапуск. Сланцы (сложно представить, чтобы растафарианцы благосклонно воспринимали женщин на высоких каблуках). Даже не припомню, как я согласилась ехать – мне кажется, я отказывалась, но Кимми вела себя так, будто у нее горела квота на число, как у тех церковных мальчиков-зазывал с университетских кампусов, у которых вид такой, будто их высекут, если они не обеспечат в день определенное число неофитов. Забавно, право. Когда мы приехали на этот сбор в доме на Хоуп-роуд (вид у особняка такой, будто перед ним в свое время стегали кнутами рабов, – два этажа, все из дерева, окна от пола до потолка, огромная веранда), Кимми умолкла. Всю дорогу сюда она тараторила без умолку, а как только мы прибыли, то словно превратилась в монашку с обетом молчания. Рас Трент был уже здесь и разговаривал с женщиной (прошу прощения, с *дщерью*); больше улыбался, чем говорил, поглаживая бороду и накреняя голову то так, то эдак, в то время как его собеседница – белая, но в растаманской шапке – стояла, сцепив перед собой руки, и излагала что-то вроде утяжеленной американской версии «я *та-ак* рада, что я здесь». Ну а я? Я *та-ак* рада была наблюдать, как образцово держит себя Кимми; как она ерзает, переминается с ноги на ногу, будто не знает, пройти ли ей туда-сюда, или уйти, или дождаться, пока он обратит на нее внимание. И все это время молчит. Все женщины здесь молчали, кроме той белой, что разговаривала с Трентом. Если б не обилие красного, зеленого и золотистого, да еще джинсовых юбок, я бы подумала, что меня окружают мусульманки.

⁹⁰ Имеется в виду император Эфиопии Хайле Селассие I.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.